

Темные аллеи

Подборка рассказов к спектаклю

1. Мадрид
2. Месть
3. Визитные карточки
4. Дурочка
5. Сто рупий
6. Красавица
7. Пароход Саратов
8. Генрих
9. Кавказ
10. В Париже

«Мадрид»

Поздним вечером шел в месячном свете вверх по Тверскому бульвару, а она навстречу: идет гуляющим шагом, держит руки в маленькой муфте и, поводя каракулевой шапочкой, надетой слегка набекрень, что-то напевает. Подойдя, приостановилась:

– Не хотите ли разделить компанию?

Он посмотрел: небольшая, курносенькая, немножко широкоскулая, глаза в ночном полусвете блестят, улыбка милая, несмелая, голосок в тишине, в морозном воздухе чистый...

– Отчего же нет? С удовольствием.

– А вы сколько дадите?

– Рубль за любовь, рубль на булавки.

Она подумала.

– А вы далеко живете? Недалеко, так пойду, после вас еще успею походить.

– Два шага. Тут, на Тверской, номера «Мадрид».

– А, знаю! Я там раз пять была. Меня туда один шулер водил. Еврей, а ужасно добрый.

– Я тоже добрый.

– Я так и подумала. Вы симпатичный, сразу мне понравились...

– Тогда, значит, пошли.

По дороге, все поглядывая на нес, – на редкость милая девчонка! – стал расспрашивать:

– Что ж ты это одна?

– Я не одна, мы всегда втроем выходим: я, Мур и Анеля. Мы и живем вместе. Только нынче суббота, их приказчики взяли. А меня никто за весь вечер не взял. Меня не очень берут, любят больше полных или уж чтобы как Анеля. Она хоть худая, а высокая, дерзкая. Пьет – страсть и по-цыгански умеет петь. Она и Мур мужчин терпеть не могут, влюблены друг в друга ужас как, живут как муж с женой...

– Так, так... Мур... А тебя как зовут? Только не ври, не выдумывай.

– Меня Нина.

– Вот и врешь. Скажи правду.

– Ну, вам скажу, Поля.

– Гуляешь, должно быть, недавно?

– Нет, уж давно, с самой весны. Да что все расспрашивать! Дайте лучше папиросочку. У вас, верно, очень хорошие, ишь какой на вас клош и шляпа!

– Дам, когда придем. На морозе вредно курить.

– Ну, как хотите, а мы всегда на морозе курим, и ничего. Вот Анели вредно, у ней чахотка... А отчего вы бритый? Он тоже был бритый...

– Это ты все про шулера? Однако запомнился он тебе!

– Я его до сих пор помню. У него тоже чахотка, а курит ужас как. Глаза горят, губы сухие, грудь провалилась, щеки провалились, темные...

– А кисти волосатые, страшные...

– Правда, правда! Ай вы его знаете?

– Ну вот, откуда же я могу его знать!

– Потом он в Киев уехал. Я его на Брянский вокзал ходила провожать, а он и не знал, что приду. Пришла, а поезд уж пошел. Побежала за вагонами, а он как раз из окошка высунулся, увидел меня, замахал рукой, стал кричать, что скоро опять приедет и киевского сухого варенья мне привезет.

– И не приехал?

– Нет, его, верно, поймали.

– А откуда же ты узнала, что он шулер?

– Он сам сказал. Напился портвейну, стал грустный и сказал. Я, говорит, шулер, все равно, что вор, да что же делать, волка ноги кормят... А вы, может, актер?

– Вроде этого. Ну, пришли...

За входной дверью горела над конторкой маленькая лампочка, никого не было.

На доске на стене висели ключи от номеров. Когда он снял свой, она зашептала:

– Как же это вы оставляете? Обворуют!

Он посмотрел на нее, все больше веселя:

– Обворуют – в Сибирь пойдут. Но что за прелесть мордашка у тебя!

Она смутилась:

– Все смеетесь... Пойдемте за ради Бога скорей, ведь все-таки это не дозволяется водить к себе так поздно...

– Ничего, не бойся, я тебя под кровать спрячу. Сколько тебе лет? Восемнадцать?

– Чудной вы! Все знаете! Восемнадцатый.

Поднялись по крутой лестнице, по истертому коврику, повернули в узкий, слабо освещенный, очень душный коридор, он остановился, всовывая ключ в дверь, она поднялась на цыпочки и посмотрела, какой номер:

– Пятый! А он стоял в пятнадцатом в третьем этаже...

– Если ты мне про него еще хоть слово скажешь, я тебя убью.

Губы у нее сморщились довольной улыбкой, она, слегка покачиваясь, вошла в прихожую освещенного номера, на ходу расстегивая пальтецо с каракулевым воротничком:

– А вы ушли и забыли свет погасить...

– Не беда. Где у тебя носовой платочек?

– На что вам?

– Раскраснелась, а все-таки нос озяб...

Она поняла, поспешно вынула из муфты комочек платка, утерлась. Он поцеловал ее холодную щечку и потрепал по спине. Она сняла шапочку, потряхнула волосами и стоя стала стягивать с ноги ботинок. Ботинок не поддавался, она, сделав усилие, чуть не упала, схватилась за его плечо и звонко засмеялась:

– Ой, чуть не полетела!

Он снял пальтецо с ее черного платья, пахнущего материей и теплым телом, легонько толкнул ее в номер, к дивану:

– Сядь и давай ногу.

– Да нет, я сама...

– Сядь, тебе говорят.

Она села и протянула правую ногу. Он встал на одно колено, ногу положил на другое, она стыдливо одернула подол на черный чулок:

– Вот какой вы, ей-Богу! Они, правда, у меня страсть тесные...

– Молчи.

И, быстро стащив ботики один за другим вместе с туфлями, откинул подол с ноги, крепко поцеловал в голое тело выше колена и встал с красным лицом:

– Ну, скорей... Не могу...

– Что не можете? – спросила она, стоя на ковре маленькими ногами в одних чулках, трогательно уменьшившись в росте.

– Совсем дурочка! Ждать не могу, – поняла?

– Раздеваться?

– Нет, одеваться!

И, отвернувшись, подошел к окну и торопливо закурил. За двойными стеклами, снизу замерзшими, бледно светили в месячном свете фонари, слышно было, как, гремя, неслись мимо, вверх по Тверской, бубенцы на «голубках»... Через минуту она окликнула его:

– Я уж лежу.

Он потушил свет и, как попало раздевшись, лег к ней под одеяло. Она, вся дрожа, прижалась к нему и зашептала с мелким, счастливым смехом:

– Только за ради Бога не дуйте мне в шею, на весь дом закричу, страсть боюсь щекотки...

С час после того она крепко спала. Лежа рядом с ней, он глядел в полутьму, смешанную с мутным светом с улицы, думая с неразрешающимся недоумением: как это может быть, что она под утро куда-то уйдет? Куда? Живет с какими-то стервами над какой-нибудь прачечной, каждый вечер выходит с ними как на службу, чтобы заработать под каким-нибудь скотом два целковых – и какая детская беспечность, простосердечная идиотичность! Я, мне кажется, тоже «на весь дом закричу», когда она завтра соберется уходить...

– Поля, – сказал он, садясь и трогая ее за голое плечо.

Она испуганно очнулась:

– Ох, батюшки! Извините, пожалуйста, совсем нечаянно заснула... Я сейчас, сейчас...

– Что сейчас?

– Сейчас встану, оденусь...

– Да нет, давай ужинать. Никуда я тебя не пущу до утра.

– Что вы, что вы! А полиция?

– Глупости. А мадера у меня ничуть не хуже портвейна твоего шулера.

– Что ж вы мне все попрекаете им?

Он внезапно зажег свет, резко ударивший ей в глаза, она сунула голову в подушку. Он сдернул с нее одеяло, стал целовать в затылок, она радостно забила ногами:

– Ой, не щекотите!

Он принес с подоконника бумажный мешочек с яблоками и бутылку крымской мадеры, взял с умывальника два стакана, сел опять на постель и сказал:

– Вот, ешь и пей. А то убью.

Она крепко надкусила яблоко и стала есть, запивая мадерой и рассудительно говоря:

– А что ж вы думаете? Может, кто и убьет. Наше дело такое. Идешь неизвестно куда, неизвестно с кем, а он либо пьяный, либо полоумный, кинется и задушит, либо зарежет... А до чего у вас теплый номер! Сидишь вся голая и все тепло. Это мадера? Вот люблю! Куда ж сравнить с портвейном, он завсегда пробкой пахнет.

– Ну, не завсегда.

– Нет, ей-Богу, пахнет, хоть два рубля за бутылку заплати, одна честь.

– Ну, давай еще налью. Давай чокнемся, выпьем и поцелуемся. До дна, до дна.

Она выпила, и так поспешно, что задохнулась, закашлялась и, смеясь, упала головой к нему на грудь. Он поднял ей голову и поцеловал в мокрые, деликатно сжатые губки.

– А меня придется провожать на вокзал?

Она удивленно раскрыла рот:

– Вы тоже уедете? Куда? Когда?

– В Петербург. Да это еще не скоро.

– Ну, слава Богу! Я теперь только к вам буду ходить. Вы хотите?

– Хочу. Только ко мне одному. Слышишь?

– Ни за какие деньги ни к кому не пойду.

– Ну то-то же. А теперь – спать.

– Да мне нужно на минуточку...

– Вот тут, в тумбочке.

– Мне на виду стыдно. Погасите на минуточку огонь...

– И совсем погашу. Третий час...

В постели она легла ему на руку, опять вся прижавшись к нему, но уже тихо, ласково, а он стал говорить:

– Завтра мы с тобой будем вместе завтракать...

Она живо подняла голову:

– А где? Вот я раз была в «Тереме», это за Триумфальными воротами, дешево до того, прямо даром, а уж сколько дают – съесть нельзя!

– Ну, это мы посмотрим где. А потом ты пойдешь домой, чтобы твои стервы не подумали, что тебя убили, да и у меня дела есть, а к семи опять приходи ко мне, поедем обедать к Патрикееву, там тебе понравится – оркестрион, балалаечники...

- А потом в «Эльдорадо» – правда? Там сейчас идет чудная фильма «Мертвец-беглец».
- Великолепно. А теперь – спи.
- Сичас, сичас... Нет, Мур не стерва, она страсть несчастная. Я бы без нее пропала.
- Как это?
- Она папина сестра двоюродная...
- Ну?
- Папа мой был сцепщиком на товарной станции в Серпухове, ему там грудь раздавило буферами, а мама умерла, когда я была еще маленькой, я и осталась одна на всем свете и поехала к ней в Москву, а она, оказывается, давно уж не служит по номерам горничной, мне дали ее адрес в адресном столе, я приехала к ней с корзинкой на извозчике на Смоленский рынок, смотрю, а она с этой Анелей живет и вместе с ней ходит по вечерам на бульвары... Ну и оставила меня у себя, а потом уговорила тоже выходить...
- А говоришь, что ты без нее пропала бы.
- А куда ж бы я делась в Москве одна? Конечно, она меня погубила, да разве она мне зла желала! Ну да что об этом говорить. Может, Бог даст, место какое найду тоже в номерах, только уж место не брошу и уж никого к себе не подпущу, мне и чаевых будет довольно, да еще на всем готовом. Вот если бы тут, в вашем «Мадриде»! Чего бы лучше!
- Я об этом подумаю; может, и устрою тебе где-нибудь такое место.
- Я бы вам в ножки поклонилась!
- Чтоб вышла уж полная идиллия...
- Что?
- Нет, ничего, это я со сна... Спи.
- Сичас, сичас... Я что-й-то раздумалась...

26 апреля 1944

## **Месть**

В пансионе в Каннах, куда я приехал в конце августа с намерением купаться в море и писать с натуры, эта странная женщина пила по утрам кофе и обедала за отдельным столиком с неизменно сосредоточенным, мрачным видом, точно никого и ничего не видя, а после кофе куда-то уходила почти до вечера. Я жил в

пансионе уже с неделю и все еще с интересом посматривал на нее: черные густые волосы, крупная черная коса, обвивающая голову, сильное тело в красном с черными цветами платье из кретона, красивое, грубоватое лицо – и этот мрачный взгляд... Подала нам эльзаска, девочка лет пятнадцати, но с большими грудями и широким задом, очень полная удивительно нежной и свежей полнотой, на редкость глупая и милая, на каждое слово расцветающая испугом и улыбкой; и вот, встретив ее однажды в коридоре, я спросил:

– Dites, Odette, qui est cette dame?

Она, с готовностью и к испугу и к улыбке, вскинула на меня маслянисто-голубые глаза:

– Quelle dame, monsieur?

– Mais la dame brune, la-bas?

– Quelle table, monsieur?

– Numero dix.

– C'est une russe, monsieur.

– Et puis?

– Je n'en sais rien, monsieur.

– Est-elle chez vous depuis longtemps?

– Depuis trois semaines, monsieur.

– Toujours seule?

– Non, monsieur. Il y avait un monsieur...

– Jeune, sportif?

– Non, monsieur... Tres pensif, nerveux...

– Et il a disparu un jour?

– Mais oui, monsieur...[21]

«Так, так! – подумал я. – Теперь кое-что понятно. Но куда это исчезает она по утрам? Все его ищет?»

На другой день, вскоре после кофе, я, как всегда, услышал в открытое окно своей комнаты хруст гальки в садике пансиона, выглянул: она, с раскрытой, как всегда, головой, под зонтиком того же цвета, что и платье, куда-то уходила скорым шагом в красных эспадрильях. Я схватил трость, канотье и поспешил за ней. Она из нашего переулочка повернула на бульвар Карно, – я тоже повернул, надеясь, что она в своей постоянной сосредоточенности не обернется и не почувствует меня. И точно – она ни разу не обернулась до самого вокзала. Не обернулась и на вокзале, входя в купе третьего класса вагона. Поезд шел в Тулон, я на всякий случай взял билет до Сен-Рафаэля, поднялся в соседнее купе. Ехала она, очевидно, недалеко, но куда? Я высовывался в окно в Напуле, в

Тэуле... Наконец, высунувшись на минутной остановке в Трэйясе, увидел, что она идет уже к выходу со станции. Я выскочил из вагона и опять пошел за ней, держась, однако, в некотором отдалении. Тут пришлось идти долго – и по извивам шоссе вдоль обрывов над морем, и по крутым каменистым тропинкам сквозь мелкий сосновый лес, по которым она сокращала путь к берегу, к заливчикам, изрезывающим берег в этой скалистой, покрытой лесом и пустынной местности, этот скат прибрежных гор. Близился полдень, было жарко, воздух неподвижен и густ от запаха горячей хвои, нигде ни души, ни звука, – только пилили, скрежетали цикады, – открытое к югу море сверкало, прыгало крупными серебряными звездами... Наконец она сбегала по тропинке к зеленому заливчику между сангвиновыми утесами, бросила зонтик на песок, быстро разулась, – была на босу ногу, – и стала раздеваться. Я лег на каменистый отвес, под которым она расстегивала свое мрачно-цветистое платье, глядел и думал, что, верно, и купальный костюм у нее такой же зловещий. Но никакого костюма под платьем не оказалось, – была одна короткая розовая сорочка. Скинув и сорочку, она, вся коричневая от загара, сильная, крепкая, пошла по голышам к светлой, прозрачной воде, напрягая красивые щиколки, подергивая крутыми половинками зада, блестя загаром бедер. У воды она постояла, – должно быть, щурясь от ее ослепительности, – потом зашумела в ней ногами, присела, окунулась до плеч и, повернувшись, легла на живот, потянулась, раскинув ноги, к песчаному побережью, положила на него локти и черную голову. Вдали широко и свободно трепетала колючим серебром равнина моря, замкнутый заливчик и весь его скалистый уют, все жарче пекло солнце, и такая тишина стояла в этой знойной пустыне скал и мелкого южного леса, что слышно было, как иногда набегала на тело, ничком лежащее подо мной, и сбегала с его сверкающей спины, раздвоенного зада и крупных раздвинутых ног сеть мелкой стеклянной зыби. Я, лежа и выглядывая из-за камней, все больше тревожился видом этой великолепной наготы, все больше забывал нелепость и дерзость своего поступка, приподнялся, закуривая от волнения трубку, – и вдруг она тоже подняла голову и вопросительно уставилась на меня снизу вверх, продолжая, однако, лежать, как лежала. Я встал, не зная, что делать, что сказать. Она заговорила первая:

– Я всю дорогу слышала, что сзади меня кто-то идет. Почему вы поехали за мной?

Я решил ответить без обиняков:

– Простите, из любопытства...

Она перебила меня: – Да, вы, очевидно, любознательны. Odette мне сказала, что вы расспрашивали ее обо мне, я случайно слышала, что вы русский, и потому не удивилась – все русские не в меру любознательны. Но почему все-таки вы поехали за мной?

– В силу все той же любознательности, – в частности, и профессиональной.

– Да, знаю, вы живописец.

– Да, а вы живописны. Кроме того, вы каждый день куда-то уходили по утрам, и это меня интриговало, – куда, зачем? – пропускали завтраки, что не часто случается с жильцами пансионатов, да и вид у вас был всегда не совсем обычный, на чем-то сосредоточенный. Держитесь вы одиноко, молчаливо, что-то как будто таите в себе... Ну, а почему я не ушел, как только вы стали раздеваться...

– Ну, это-то понятно, – сказала она.

И, помолчав, прибавила: – Я сейчас выйду. Отвернитесь на минуту и потом идите сюда. Вы меня тоже заинтересовали.

– Ни за что не отвернусь, – ответил я. – Я художник, и мы не дети.

Она пожала плечом:

– Ну, хорошо, мне все равно...

И встала во весь рост, показывая всю себя спереди во всей своей женской силе, не спеша пробралась по гальке, накинула на голову свою розовую сорочку, потом открыла в ней свое серьезное лицо, опустила ее на мокрое тело. Я сбежал к ней, и мы сели рядом.

– Кроме трубки, у вас есть, может быть, и папиросы? – спросила она.

– Есть.

– Дайте мне.

Я дал, зажег спичку.

– Спасибо.

И, затягиваясь, она стала глядеть вдаль, пошевеливая пальцами ноги, не оборачиваясь; иронически сказала вдруг:

– Так я еще могу нравиться?

– Еще бы! – воскликнул я. – Прекрасное тело, чудесные волосы, глаза... Только очень уж недоброе выражение лица.

– Это потому, что я, правда, занята одной злой мыслью.

– Я так и думал. Вы с кем-то недавно расстались, кто-то вас оставил...

– Не оставил, а бросил. Сбежал от меня. Я знала, что он пропащий человек, но я его как-то любила. Оказалось, что любила просто негодяя. Встретилась я с ним месяца полтора тому назад в Монте-Карло. Играла в тот вечер в казино. Он стоял рядом, тоже играл, следил сумасшедшими глазами за шариком и все

выигрывал, выиграл раз, два, три, четыре... Я тоже все выигрывала, он это видел и вдруг сказал:

«Шабаш! Assez!» – и повернулся ко мне: «N'est-ce pas, madame?»[22] Я, смеясь, ответила: «Да, шабаш!» – «Ах, вы русская?» – «Как видите». – «Тогда идем кутить!» Я посмотрела – очень потрепанный, но изящный с виду человек... Остальное нетрудно угадать.

– Да, нетрудно. Почувствовали себя за ужином близкими, говорили без конца, удивились, когда настал час расставаться...

– Совершенно верно. И не расстались и начали проматывать выигранное. Жили в Монте-Карло, в Тюрби, в Ницце, завтракали и обедали в кабаках на дороге между Каннами и Ниццей – вы, верно, знаете, что это стоит! – жили одно время даже в отеле на Cap d'Antibes, притворяясь богатыми людьми... А денег оставалось все меньше, поездки в Монте-Карло на последние гроши кончались крахом... Он стал куда-то исчезать и возвращаться опять с деньгами, хотя привозил пустяки – франков сто, пятьдесят... Потом где-то продал мои серьги, обручальное кольцо, – я была когда-то замужем, – золотой нательный крест...

– И, конечно, уверял, что вот-вот откуда-то получит какой-то большой долг, что у него есть знатные и состоятельные друзья и знакомые.

– Да, именно так. Кто он, я точно и теперь не знаю, он избегал говорить подробно и ясно о своей прошлой жизни, и я как-то невнимательно относилась к этому. Ну, обычное прошлое многих эмигрантов: Петербург, служба в блестящем полку, потом война, революция, Константинополь... В Париже, благодаря прежним связям, будто бы устраивался и всегда может устроиться очень недурно, а пока – Монте-Карло или же постоянная возможность, как он говорил, перехватить в Ницце у каких-то титулованных друзей... Я уже падала духом, приходила в отчаяние, но он только усмеялся: «Будь спокойна, положишься на меня, я уж сделал некоторые серьезные демарши в Париже, а какие именно, это, как говорится, не женского ума дело...»

– Так, так...

– Что так?

И она вдруг обернулась ко мне, сверкнув глазами, далеко швырнув потухшую папиросу.

– Вас все это потешает?

Я схватил и сжал ее руку:

– Как вам не стыдно! Вот я напишу вас Медузой или Немезидой!

– Это богиня мести?

– Да, и очень злая.

Она печально усмехнулась:

– Немезида! Уж какая там Немезида! Нет, вы хороший... Дайте еще папиросу. Выучил курить... Всему выучил!

И, закурив, опять стала смотреть вдаль.

– Я забыл вам сказать еще то, как я был удивлен, когда увидел, куда вы ездите купаться, – целое путешествие каждый день и с какою целью? Теперь понимаю: ищите одиночества.

– Да...

Солнечный жар тек все гуще, цикады на горячих, пахучих соснах пилили, скрежетали все настойчивее, яростней, – я чувствовал, как должны быть накалены ее черные волосы, открытые плечи, ноги, и сказал:

– Перейдем в тень, уж очень жжет, и доскажите мне вашу печальную историю.

Она очнулась: – Перейдем...

И мы обошли полукруг заливчика и сели в светлой и знойной тени под красными утесами. Я опять взял ее руку и оставил в своей. Она не заметила этого.

– Что ж тут досказывать? – сказала она. – Мне уж как-то расхотелось вспоминать всю эту действительно очень печальную и постыдную историю. Вы, вероятно, думаете, что я привычная содержанка то одного, то другого мошенника. Ничего подобного. Прошое мое тоже самое обыкновенное. Муж был в Добровольческой армии, сперва у Деникина, потом у Врангеля, а когда мы докатились до Парижа, стал, конечно, шофером, но начал спиваться и спился до того, что потерял работу и превратился в настоящего босняка. Продолжать жить с ним я уже никак не могла. Видела его последний раз на Монпарнасе, у дверей «Доминика», – знаете, конечно, этот русский кабачок? Ночь, дождь, а он в опорках, топчется в лужах, подбегает, согнувшись, к прохожим, протягивает руку за подачкой, неловко помогает, лучше сказать, мешает вылезать из такси подъезжающим... Я постояла, посмотрела на него, подошла к нему. Узнал, испугался, сконфузился, – вы не можете себе представить, какой это прекрасный, добрый, деликатный человек! – стоит, растерянно смотрит на меня: «Маша, ты?» Маленький, оборванный, небритый, весь зарос рыжей щетиной, мокрый, дрожит от холода... Я дала ему все, что было у меня в сумочке, он схватил мою руку мокрой, ледяной ручкой, стал целовать ее и трястись от слез. Но что же я могла сделать? Только посылать ему раза два, три в месяц по сто, по двести франков, – у меня в Париже шляпная мастерская, и я довольно прилично зарабатываю. А сюда я приехала отдохнуть, покупаться – и вот... На днях уеду в Париж. Встретиться с ним, дать ему пощечину и тому подобное – очень глупая

мечта, и знаете, когда я поняла это уж как следует? Вот только сейчас, благодаря вам. Стала рассказывать и поняла...

– Но все-таки как же он сбежал?

– Ах, в том-то и дело, что уж очень подло. Поселились мы в этом самом пансиончике, где мы с вами оказались соседями, – это после отеля-то на Cap d'Antibes! – и пошли однажды вечером, всего дней десять тому назад, пить чай в казино. Ну, конечно, музыка, несколько танцующих пар, – я уж больше просто видеть не могла без отвращения всего этого, нагледелась достаточно! – однако сижу, ем пирожные, которые он заказывает для меня и для себя и все как-то странно смеется, – посмотри, посмотри, говорит про музыкантов, настоящие обезьяны, как топают и кривляются! Потом открывает пустой портсигар, зовет шассера, приказывает ему принести английских папирос, тот приносит, он рассеянно говорит мерси, я вам заплачу после чая, глядит на свои ногти и обращается ко мне: «Ужас какие руки! Пойду помою...» Встает и уходит...

– И больше не возвращается.

– Да. А я сижу и жду. Жду десять минут, двадцать, полчаса, час...

Представляете вы это себе?

– Представляю...

Я очень ясно представил себе: сидят за чайным столиком, смотрят, молчат, по-разному думают о своем мерзком положении... За стеклами больших окон вечеряющее небо и глянец, штиль моря, висят темнеющие ветви пальм, музыканты, как неживые, топают ногами в пол, дуют в инструменты, бьют в металлические тарелки, мужчины, шаркая и качаясь в лад им, напирают на своих дам, будто таща их к явно определенной цели... Малый в крагах и в некотором подобии зеленого мундира подает ему, почтительно сняв картуз, пачку «High-Life»...

– Ну и что же? Вы сидите...

– Я сижу и чувствую, что погибаю. Музыканты ушли, зал опустел, зажегся электрический свет...

– Посинели окна...

– Да, а я все не могу подняться с места: что делать, как спастись? В сумочке у меня всего шесть франков и какая-то мелочь!

– А он действительно пошел в уборную, сделал там что нужно, думая о своей мошеннической жизни, потом застегнулся и на цыпочках пробежал по коридорам к другому выходу, выскочил на улицу... Побойтесь Бога, подумайте, кого вы любили! Искать его, мстить ему? За что? Вы не девочка, должны были

видеть, кто он и в какое положение вы попали. Почему же продолжали эту ужасную во всех смыслах жизнь?

Она помолчала, повела плечом:

– Кого я любила? не знаю. Была, как говорится, потребность любви, которой я по-настоящему никогда не испытала... Как мужчина, он мне ничего не давал и не мог дать, уже давно потерял мужские способности... Должна была видеть, кто он и в какое положение попала? Конечно, должна, да не хотелось видеть, думать – в первый раз в жизни жила такой жизнью, этим порочным праздником, всеми его удовольствиями, жила в каком-то наваждении. Зачем хотела где-то встретить его и как-то отомстить ему? Опять наваждение, навязчивая идея. Разве я не чувствовала, что, кроме гадкого и жалкого скандала, я ничего не могла сделать? Но вы говорите: за что? А вот за то, что это все-таки благодаря ему я так низко пала, жила этой мошеннической жизнью, а главное, за тот ужас, позор, который я пережила в тот вечер в казино, когда он сбежал из клозета! Когда я, вне себя, что-то лгала в кассе казино, вывертывалась, умоляла взять у меня в залог до завтра сумочку – и когда ее не взяли и презрительно простили мне и чай, и пирожные, и английские папиросы! Послала телеграмму в Париж, получила на третий день тысячу франков, пошла в казино – там, не глядя на меня, взяли деньги, даже счетик дали... Ах, милый, никакая я не Медуза, я просто баба и к тому же очень чувствительная, одинокая, несчастная, но поймите же меня – ведь и у курицы есть сердце! Я просто больна была все эти дни с того проклятого вечера. И просто сам Бог послал мне вас, я как-то вдруг пришла в себя... Пустите мою руку, пора одеваться, скоро поезд из Сен-Рафаэля...

– Бог с ним, – сказал я. – Посмотрите лучше кругом на эти красные скалы, зеленый заливчик, корявые сосны, послушайте этот райский скрежет... Ездить сюда мы теперь будем уж вместе. Правда?

– Правда.

– Вместе и в Париж уедем.

– Да.

– А что дальше, не стоит загадывать.

– Да, да.

– Можно поцеловать руку?

– Можно, можно...

13 июня 1944

## Визитные карточки

Было начало осени, бежал по опустевшей Волге пароход «Гончаров». Завернули ранние холода, туго и быстро дул навстречу, по серым разливам ее азиатского простора, с ее восточных, уже порыжевших берегов, студеной ветер, трепавший флаг на корме, шляпы, картузы и одежды ходивших по палубе, морщивший им лица, бивший в рукава и полы. И бесцельно и скучно провожала пароход единственная чайка – то летела, выпукло кренясь на острых крыльях, за самой кормой, то косо смывалась вдаль, в сторону, точно не зная, что с собой делать в этой пустыне великой реки и осеннего серого неба.

И пароход был почти пуст, – только артель мужиков на нижней палубе, а по верхней ходили взад и вперед, встречаясь и расходясь, всего трое: те два из второго класса, что оба плыли куда-то в одно и то же место и были неразлучны, гуляли всегда вместе, все о чем-то деловито говоря, и были похожи друг на друга незаметностью, и пассажир первого класса, человек лет тридцати, недавно прославившийся писатель, заметный своей не то печальной, не то сердитой серьезностью и отчасти наружностью: он был высок, крепок, – даже слегка гнулся, как некоторые сильные люди, – хорошо одет и в своем роде красив: брюнет того восточного типа, что встречается в Москве среди ее старинного торгового люда; он и вышел из этого люда, хотя ничего общего с ним уже не имел.

Он одиноко ходил твердой поступью, в дорогой и прочной обуви, в черном шевиотовом пальто и клетчатой английской каскетке, шагал взад и вперед, то навстречу ветру, то под ветер, дыша этим сильным воздухом осени и Волги. Он доходил до кормы, стоял на ней, глядя на расстилавшуюся и бегущую серой зыбью сзади парохода реку и опять, резко повернувшись, шел к носу, на ветер, нагибая голову в надувавшейся каскетке и слушая мерный стук колесных плиц, с которых стеклянным холстом катилась шумящая вода. Наконец он вдруг приостановился и хмуро улыбнулся: показалась поднимавшаяся из пролета лестницы, с нижней палубы, из третьего класса, черная дешевенькая, шляпка и под ней испитое, милое лицо той, с которой он случайно познакомился вчера вечером. Он пошел к ней навстречу широкими шагами. Вся поднявшись на палубу, неловко пошла и она на него и тоже с улыбкой, подгоняемая ветром, вся косясь от ветра, придерживая худой рукой шляпку, в легком пальтишке, под которым видны были тонкие ноги.

– Как изволили почивать? – громко и мужественно сказал он на ходу.

– Отлично! – ответила она неумеренно весело. – Я всегда сплю, как сурок...

Он задержал ее руку в своей большой руке и посмотрел ей в глаза. Она с радостным усилением встретила его взгляд.

– Что ж вы так заспались, ангел мой, – сказал он фамильярно. – Добрые люди уже завтракают.

– Все мечтала! – ответила она бойко, совсем несоответственно всему своему виду.

– О чем же это?

– Мало ли о чем?

– Ой, смотрите! «Так тонут маленькие дети, купаясь летнею порой, чеченец ходит за рекой».

– Вот чеченца-то я и жду! – ответила она с той же веселой бойкостью.

– Пойдем лучше водку пить и уху есть, – сказал он, думая: ей и завтракать-то, верно, не на что.

Она кокетливо затопала ногами:

– Да, да, водки, водки! Чертов холод!

И они скорым шагом пошли в столовую первого класса, она впереди, он за нею, уже с некоторой жадностью осматривая ее.

Он вспоминал о ней ночью. Вчера, случайно заговорив с ней и познакомившись у борта парохода, подходившего в сумерки к какому-то черному высокому берегу, под которым уже рассыпаны были огни, он потом посидел с ней на палубе, на длинной лавке, идущей вдоль кают первого класса, под их окнами с белыми сквозными ставнями, но посидел мало и ночью жалел об этом. К удивлению своему, он ночью понял, что уже хотел ее. Почему? По привычке дорожного влечения к случайным и неизвестным спутницам? Теперь, сидя с ней в столовой, чокаясь рюмками под холодную зернистую икру с горячим калачом, он уже знал, почему так влечет его она, и нетерпеливо ждал доведения дела до конца. Оттого, что все это – и водка и ее развязность – было в удивительном противоречии с ней, он внутренне волновался все больше.

– Ну-с, еще по единой, и шабаш! – говорит он.

– И правда шабаш, – отвечает она в тон ему. – А замечательная водка!

Конечно, она тронула его тем, что так растерялась вчера, когда он назвал ей свое имя, поражена была неожиданным знакомством с известным писателем, – чувствовать и видеть эту растерянность было, как всегда, приятно, это всегда располагает к женщине, если она не совсем дурна и глупа, сразу создает некоторую интимность между тобой и ею, дает смелость в обращении с нею и уже как бы некоторое право на нее. Но не одно это возбуждало его: он, видимо, поразил ее и как мужчина, а она его тронула именно всей своей бедностью и

простосердечностью. Он уже усвоил себе бесцеремонность с поклонницами, легкий и скорый переход от первых минут знакомства с ними к вольности обращения, якобы артистического, и эту наигранную простоту расспросов: кто вы такая? откуда? замужняя или нет? Так расспрашивал он и вчера – глядел в сумрак вечера на разноцветные огни на бакенах, длинно отражавшиеся в темнеющей воде вокруг парохода на красно горевший костер на плотках, чувствовал гранах дымка оттуда, думая: «Это надо запомнить – в этом дымке тотчас чудится запах ухи», – и расспрашивал:

– Можно узнать, как зовут?

Она быстро сказала свое имя-отчество.

– Возвращаетесь откуда-нибудь домой?

– Была в Свияжске у сестры, у нее внезапно умер муж, и она, понимаете, осталась в ужасном положении...

Она сперва так смущалась, что все смотрела куда-то вдаль. Потом стала отвечать смелее.

– А вы тоже замужем?

Она начала странно усмехаться:

– Замужем. И, увы, уже не первый год...

– Почему увы?

– Выскочила по глупости чересчур рано. Не успеешь оглянуться, как жизнь пройдет!

– Ну, до этого еще далеко.

– Увы, недалеко! А я еще ничего, ничего не испытала в жизни!

– Еще не поздно испытать.

И тут она вдруг с усмешкой тряхнула головой:

– И испытаю!

– А кто ваш муж? Чиновник?

Она махнула ручкой:

– Ах, очень хороший и добрый, но, к сожалению, совсем не интересный человек... Секретарь нашей земской уездной управы...

«Какая милая и несчастная!» – подумал он и вынул портсигар:

– Хотите папиросу?

– Очень!

И она неумело, но отважно закурила, быстро, по-женски затягиваясь. И в нем еще раз дрогнула жалость к ней, к ее развязности, а вместе с жалостью – нежность и сладострастное желание воспользоваться ее наивностью и запоздалой неопытностью, которая, он уже чувствовал, непременно соединится

с крайней смелостью. Теперь, сидя в столовой, он с нетерпением смотрел на ее худые руки, на увядшее и оттого еще более трогательное личико, на обильные, кое-как убранные темные волосы, которыми она все встряхивала, сняв черную шляпку и скинув с плеч, с бумазейного платья серое пальтишко. Его умиляла и возбуждала та откровенность, с которой она говорила с ним вчера о своей семейной жизни, о своем немолодом возрасте, и то, что она вдруг так расхрабрилась теперь, делает и говорит как раз то, что так удивительно не идет к ней. Она слегка покраснелась от водки, даже бледные губы ее порозовели, глаза налились сонно-насмешливым блеском.

– Знаете, – сказала она вдруг, – вот мы говорили о мечтах: знаете, о чем я больше всего мечтала гимназисткой? Заказать себе визитные карточки! Мы совсем обеднели тогда, продали остатки имения и переехали в город, и мне совершенно некому было давать их, а как я мечтала! Ужасно глупо...

Он сжал зубы и крепко взял ее ручку, под тонкой кожей которой чувствовались все косточки, но она, совсем не поняв его, сама, как опытная оболстительница, поднесла ее к его губам и томно посмотрела на него.

– Пойдем ко мне...

– Пойдем... Здесь, правда, что-то душно, накурено!

И, встряхнув волосами, взяла шляпку.

Он в коридоре обнял ее. Она гордо, с негой посмотрела на него через плечо. Он с ненавистью страсти и любви чуть не укусил ее в щеку. Она, через плечо, вакхически подставила ему губы.

В полусвете каюты с опущенной на окне сквозной решеткой она тотчас же, спеша угодить ему и до конца дерзко использовать все то неожиданное счастье, которое вдруг выпало на ее долю с этим красивым, сильным и известным человеком, растянула и стоптала с себя упавшее на пол платье, осталась, стройная, как мальчик, в легонькой сорочке, с голыми плечами и руками и в белых панталончиках, и его мучительно пронзила невинность всего этого.

– Все снять? – шепотом спросила она, совсем, как девочка.

– Все, все, – сказал он, мрачней все более.

Она покорно и быстро переступила из всего сброшенного на пол белья, осталась вся голая, серо-сиреневая, с той особенностью женского тела, когда оно нервно зябнет, становится туго и прохладно, покрываясь гусиной кожей, в одних дешевых серых чулках с простыми подвязками, в дешевых черных туфельках, и победоносно пьяно взглянула на него, берясь за волосы и вынимая из них шпильки. Он, холодея, следил за ней. Телом она оказалась лучше, моложе, чем можно было думать. Худые ключицы и ребра выделялись в соответствии с

худым лицом и тонкими голеньями. Но бедра были даже крупны. Живот с маленьким глубоким пупком был впалый, выпуклый треугольник темных красивых волос под ним соответствовал обилию темных волос на голове. Она вынула шпильки, волосы густо упали на ее худую спину в выступающих позвонках. Она наклонилась, чтобы поднять спадающие чулки, – маленькие груди с озябшими, сморщившимися коричневыми сосками повисли тощими грушками, прелестными в своей бедности. И он заставил ее испытать то крайнее бесстыдство, которое так не к лицу было ей и потому так возбуждало его жалостью, нежностью, страстью... Между планок оконной решетки, косо торчавших вверх, ничего не могло быть видно, но она с восторженным ужасом косилась на них, слышала беспечный говор и шаги проходящих по палубе под самым окном, и это еще страшнее увеличивало восторг ее развратности. О, как близко говорят и идут – и никому и в голову не приходит, что делается на шаг от них, в этой белой каюте!

Потом он ее, как мертвую, положил на койку. Сжав зубы, она лежала с закрытыми глазами и уже со скорбным успокоением на побледневшем и совсем молодом лице.

Перед вечером, когда пароход причалил там, где ей нужно было сходить, она стояла возле него тихая, с опущенными ресницами. Он поцеловал ее холодную ручку с той любовью, что остается где-то в сердце на всю жизнь, и она, не оглядываясь, побежала вниз по сходням в грубую толпу на пристани.

5 октября 1940

## Дурочка

Дьяконов сын, семинарист, приехавший в село к родителям на каникулы, проснулся однажды в темную жаркую ночь от жестокого телесного возбуждения и, полежав, распалил себя еще больше воображением: днем, перед обедом, подсматривал из прибрежного лозняка над заводью речки, как приходили туда с работы девки и, сбрасывая с потных белых тел через голову рубашки, с шумом и хохотом, задирая лица, выгибая спины, кидались в горячо блестящую воду; потом, не владея собой, встал, прокрался в темноте через сенцы в кухню, где было черно и жарко, как в топленной печи, нашарил, протягивая вперед руки, нары, на которых спала кухарка, нищая, безродная девка, слывшая дурочкой, и она, от страха, даже не крикнула. Жил он с ней с тех пор все лето и прижил мальчика, который и стал расти при матери в кухне. Дьякон, дьяконица, сам

батюшка и весь его дом, вся семья лавочника и урядник с женой, все знали, от кого этот мальчик, и семинарист, приезжая на каникулы, видеть не мог его от злобного стыда за свою прошлое: жил с дурочкой!

Когда он кончил курс, - "блестяще!", как всем рассказывал дьякон, - и опять приехал к родителям на лето перед поступлением в академию, они в первый же праздник назвали к чаю гостей, чтобы погордиться перед ними будущим академиком. Гости тоже говорили о его блестящей будущности, пили чай, ели разные варенья, и счастливый дьякон завел среди их оживленной беседы зашипевший и потом громко закричавший граммофон.

Все смолкли и с улыбками удовольствия стали слушать подмывающие звуки "По улице мостовой", как вдруг в комнату влетел и неловко, не в лад заплясал, затопал кухаркин мальчик, которому мать, думая всех умилить им, сдуру шепнула: "Беги, попляши, деточка". Все растерялись от неожиданности, а дьяконов сын, побагровев, кинулся на него подобно тигру и с такой силой швырнул вон из комнаты, что мальчик кубарем покатился в прихожую.

На другой день дьякон и дьяконица, по его требованию, кухарку прогнали. Они были люди добрые и жалостливые, очень привыкли к ней, полюбили ее за ее безответность, послушание и всячески просили сына смиростивиться. Но он остался непреклонен, и его не посмели послушаться. К вечеру кухарка, тихо плача и держа в одной руке свой узелок, а в другой ручку мальчика, ушла со двора.

Все лето после того она ходила с ним по деревням и селам, побираясь Христа ради. Она обносилась, обтрепалась, спеклась на ветру и на солнце, исхудала до костей и кожи, но была неутомима. Она шла босая, с дерюжной сумой через плечо, подпираясь высокой палкой, и в деревнях и селах молча кланялась перед каждой избой. Мальчик шел за ней сзади, тоже с мешком через плечико в старых башмаках ее, разбитых и затвердевших, как те опорки, что валяются где-нибудь в овраге.

Он был урод. У него было большое, плоское темя в кабаньей красной шерстке, носик расплющенный, с широкими ноздрями, глазки ореховые и очень блестящие. Но когда он улыбался, он был очень мил.

28 сентября 1940

## **Сто рупий**

Я увидел ее однажды утром во дворе той гостиницы, того старинного голландского дома в кокосовых лесах на берегу океана, где я проживал в те дни.

И потом видел ее там каждое утро. Она полулежала в камышовом кресле, в легкой, жаркой тени, падавшей от дома, в двух шагах от веранды. Высокий, желтолицый, мучительно-узкоглазый малаец, одетый в белую парусиновую куртку и такие же панталоны, приносил ей, шурша босыми ногами по гравию, и ставил на столик возле кресла поднос с чашкой золотого чаю, что-то почтительно говорил ей, не шевеля сухими, стянутыми в дыру губами, кланялся и удалялся; а она полулежала и медленно помахивала соломенным веером, мерно мерцая черным бархатом своих удивительных ресниц... К какому роду земных созданий можно было отнести ее?

Ее тропически крепкое маленькое тело, его кофейная нагота была открыта на груди, на плечах, на руках и на ногах до колен, а стан и бедра как-то повиты яркой зеленой тканью. Маленькие ступни с красными ногтями пальцев выглядывали между красными ремнями лакированных сандалий желтого дерева. Дегтярные волосы, высоко поднятые прической, странно не соответствовали своей грубостью нежности ее детского лица. В мочках маленьких ушей покачивались золотые дутые кольца. И неправдоподобно огромны и великолепны были черные ресницы – подобие тех райских бабочек, что так волшебным мерцают на райских индийских цветах... Красота, ум, глупость – все эти слова никак не шли к ней, как не шло все человеческое: поистине, была она как бы с какой-то другой планеты. Единственное, что шло к ней, была бессловесность. И она полулежала и молчала, мерно мерцая черным бархатом своих ресниц-бабочек, медленно помахивая веером...

Раз утром, когда во двор гостиницы вбежал рикша, на котором я обычно ездил в город, малаец встретил меня на ступеньках веранды и, поклонившись, тихо сказал по-английски:

– Сто рупий, сэр.

24 мая 1944

## **Красавица**

Чиновник казенной палаты, вдовец, пожилой, женился на молоденькой, на красавице, дочери воинского начальника. Он был молчалив и скромн, а она знала себе цену. Он был худой, высокий, чахоточного сложения носил очки цвета йода, говорил несколько сипло и, если хотел сказать что-нибудь погромче, срывался в фистулу. А она была невелика, отлично и крепко сложена, всегда хорошо одета, очень внимательна и хозяйственна по дому, взгляд имела зоркий. Он казался столь же неинтересен во всех отношениях, как множество

губернских чиновников, но и первым браком был женат на красавице – все только руками разводили: за что и почему шли за него такие?

И вот вторая красавица спокойно возненавидела его семилетнего мальчика от первой, сделала вид, что совершенно не замечает его. Тогда и отец, от страха перед ней, тоже притворился, будто у него нет и никогда не было сына. И мальчик, от природы живой, ласковый, стал в их присутствии бояться слово сказать, а там и совсем затаился, сделался как бы несуществующим в доме. Тотчас после свадьбы его перевели спать из отцовской спальни на диванчик в гостиную, небольшую комнату возле столовой, убранную синей бархатной мебелью. Но сон у него был беспокойный, он каждую ночь сбивал простыню и одеяло на пол. И вскоре красавица сказала горничной:

– Это безобразие, он весь бархат на диване изотрет. Стелите ему, Настя, на полу, на том тюфячке, который я велела вам спрятать в большой сундук покойной барыни в коридоре.

И мальчик, в своем круглом одиночестве на всем свете, зажил совершенно самостоятельной, совершенно обособленной от всего дома жизнью, – неслышной, незаметной, одинаковой изо дня в день: смиренно сидит себе в уголке гостиной, рисует на грифельной доске домики или шепотом читает по складам все одну и ту же книжечку с картинками, купленную еще при покойной маме, смотрит в окна... Спит он на полу между диваном и кадкой с пальмой. Он сам стелет себе постельку вечером и сам прилежно убирает, свертывает ее утром и уносит в коридор в мамин сундук. Там спрятано и все остальное добришко его.

## **Пароход Саратов**

В сумерки прошумел за окнами короткий майский дождь. Рябой денщик, пивший в кухне при свете жестяной лампочки чай, посмотрел на часы, стучавшие на стене, встал и неловко, стараясь не скрипеть новыми сапогами, прошел в темный кабинет, подошел к оттоманке:

- Ваше благородие, десятый час...

Он испуганно открыл глаза:

- Что? Десятый? Не может быть...

Оба окна были открыты на улицу, глухую, всю в садах - в окна пахло свежестью весенней сырости и тополями. Он с той остротой обоняния, что бывает после крепкого молодого сна, почувствовал эти запахи и бодро сбросил с оттоманки ноги:

- Зажги огонь и ступай скорей за извозчиком. Найди какого порезвей...

И пошел переодеваться, мыться, облил голову холодной водой, смочил одеколоном и причесал короткие курчавые волосы, еще раз взглянул в зеркало: лицо было свежо, глаза блестели; с часу до шести он завтракал в большой офицерской компании, дома заснул тем мгновенным сном, каким засыпаешь после нескольких часов непрерывного питья, куренья, смеха и болтовни, однако чувствовал себя теперь отлично. Денщик подал в прихожей шашку, фуражку и тонкую летнюю шинель, распахнул дверь на подъезд - он легко вскочил в пролетку и несколько хрипло крикнул:

- Валяй живей! Целковый на водку!

Под густой маслянистой зеленью деревьев мелькал ясный блеск фонарей, запах мокрых тополей был и свеж и прян, лошадь неслась, высекая подковами красные искры. Все было прекрасно: и зелень, и фонари, и предстоящее свидание, и вкус папиросы, которую ухитрился закурить на лету. И все сливалось в одно: в счастливое чувство готовности на все что угодно. Водка, бенедиктин, турецкое кофе? Вздор, просто весна и все отлично...

Дверь отворила маленькая, очень порочная на вид горничная на тонких качающихся каблукках. Быстро скинув шинель и отстегнув шашку, бросив фуражку на подзеркальник и немного взбив волосы, вошел, позванивая шпорами, в небольшую, тесную от излишества будуарной мебели комнату. И тотчас вошла и она, тоже покачиваясь на каблукках туфель без задка, на босу ногу с розовыми пятками, - длинная, волнистая, в узком и пестром, как серая змея, капоте с висящими, разрезанными до плеча рукавами. Длинные были и несколько раскосые глаза ее. В длинной бледной руке дымилась папироса в длинном янтарном мундштуке.

Целуя ее левую руку, он щелкнул каблуками:

- Прости, ради Бога, задержался не по своей вине...

Она посмотрела с высоты своего роста на мокрый глянец его коротких, мелко курчавых волос, на блестящие глаза, почувствовала его винный запах:

- Вина давно известная...

И села на шелковый пуф, взяв левой рукой под локоть правую, высоко держа поднятую папиросу, положив ногу на ногу и выше колена раскрыв боковой разрез капота. Он сел напротив на шелковое канапе, вытягивая из кармана брюк портсигар:

- Понимаешь, какая вышла история...

- Понимаю, понимаю...

Он быстро и ловко закурил, помахал горячей спичкой и бросил ее в пепельницу на восточном столике возле пуфа, усаживаясь поудобней и глядя с обычным неумеренным восхищением на ее голое колено в разрезе капота:

- Ну, прекрасно, не хочешь слушать, не надо... Программа нынешнего вечера: хочешь поехать в Купеческий сад? Там нынче какая-то "Японская ночь" - знаешь, эти фонарики, на эстраде гейши, "за красу я получила первый приз..."

Она покачала головой:

- Никаких программ. Я нынче сижу дома.

- Как хочешь. И это не плохо.

Она повела глазами по комнате:

- Милый мой, это наше последнее свидание.

Он весело изумился:

- То есть как это последнее?

- А так.

У него еще веселей заиграли глаза:

- Позволь, позволь, это забавно!

- Я ничуть не забавляюсь.

- Прекрасно. Но все-таки интересно знать, что сей сон значит? Яка така удрут закавыка, как говорит наш вахмистр?

- Как говорят вахмистры, меня мало интересует. И я, по правде сказать, не совсем понимаю, чего ты веселишься.

- Веселюсь, как всегда, когда тебя вижу.

- Это очень мило, но на этот раз не совсем кстати.

- Однако, черт возьми, я все-таки ничего не понимаю! Что случилось?

- Случилось то, о чем я должна была сказать тебе уже давно. Я возвращаюсь к нему. Наш разрыв был ошибкой.

- Мамочки мои! Да ты это серьезно?

- Совершенно серьезно. Я была преступно виновата перед ним. Но он все готов простить, забыть.

- Ка-акое великодушие!

- Не паясничай. Я виделась с ним еще Великим постом...

- То есть тайком от меня и продолжая...

- Что продолжая? Понимаю, но все равно... Я виделась с ним, - и, разумеется, тайком, не желая тебе же причинять страдание, - и тогда же поняла, что никогда не переставала любить его.

Он сощурил глаза, жуя мундштук папиросы:

- То есть его деньги?

- Он не богаче тебя. И что мне ваши деньги! Если б я захотела...

- Прости, так говорят только кокотки.

- А кто ж я, как не кокотка? Разве я на свои, а не на твои деньги живу?

Он пробормотал офицерской скороговоркой:

- При любви деньги не имеют значения.

- Но ведь я люблю его!

- А я, значит, был только временной игрушкой, забавой от скуки и одним из выгодных содержателей?

- Ты отлично знаешь, что далеко не забавой, не игрушкой. Ну да, я содержанка, и все-таки подло напоминать мне об этом.

- Легче на поворотах! Выбирайте хорошо ваши выражения, как говорят французы!

- Вам тоже советую держаться этого правила. Словом...

Он встал, почувствовал новый прилив той готовности на все, с которой мчался на извозчике, прошелся по комнате, собираясь с мыслями, все еще не веря той нелепости, неожиданности, которая вдруг разбила все его радостные надежды на этот вечер, отшвырнул ногой желтоволосую куклу в красном сарафане, валявшуюся на ковре, сел опять на канапе, в упор глядя на нее.

- Я еще раз спрашиваю: это все не шутки?

Она, закрыв глаза, помахала давно потухшей папиросой.

Он задумался, снова закурил и опять зажевал мундштук, отдельно говоря:

- И что же, ты думаешь, что я так вот и отдам ему вот эти твои руки, ноги, что он будет целовать вот это колено, которое еще вчера целовал я?

Она подняла брови:

- Я ведь все-таки не вещь, мой милый, которую можно отдавать или не отдавать.

И по какому праву...

Он поспешно положил папиросу в пепельницу и, согнувшись, вынул из заднего кармана брюк скользкий, маленький, увесистый браунинг, на ладони покачал его:

- Вот мое право.

Она покосилась, скучно усмехнулась:

- Я не любительница мелодрам.

И бесстрастно повысила голос:

- Соня, подайте Павлу Сергеевичу шинель.

- Что-о?

- Ничего. Вы пьяны. Уходите.

- Это ваше последнее слово?

- Последнее.

И поднялась, оправляя разрез на ноге. Он шагнул к ней с радостной решительностью.

- Смотрите, как бы и впрямь не стало оно вашим последним!

- Пьяный актер, - сказала она брезгливо и, поправляя сзади волосы длинными пальцами, пошла из комнаты. Он так крепко схватил ее за обнажившееся предплечье, что она изогнулась и, быстро обернувшись с еще больше раскосившимися глазами, замахнулась на него. Он, ловко уклонившись, с едкой гримасой выстрелил.

В декабре того же года пароход Добровольного флота "Саратов" шел в Индийском океане на Владивосток. Под горячим тентом, натянутом на баке, в неподвижном зное, в горячем полусвете, в блеске зеркальных отражений от воды, сидели и лежали на палубе до пояса голые арестанты с наполовину выбритыми, страшными головами, в штанах из белой парусины, с кольцами кандалов на щиколках босых ног. Как все, до пояса гол был и он худым, коричневым от загара телом. Темнела и у него только половина головы коротко остриженными волосами, красно чернели жестким волосом давно не бритые худые щеки, лихорадочно сверкали глаза. Облокотясь на поручни, он пристально смотрел на горбами летящую глубоко внизу, вдоль высокой стены борта, густо-синюю волну и от времени до времени поплевывал туда.

16 мая 1944

## Генрих

В сказочный морозный вечер с сиреневым инеем в садах лихач Касаткин мчал Глебова на высоких, узких санках вниз по Тверской в Лоскутную гостиницу – заезжали к Елисееву за фруктами и вином. Над Москвой было еще светло, зеленело к западу чистое и прозрачное небо, тонко сквозили пролетами верхи колоколен, но внизу, в сизой морозной дымке, уже темнело и неподвижно и нежно сияли огни только что зажженных фонарей.

У подъезда Лоскутной, откидывая волчью полость, Глебов приказал засыпанному снежной пылью Касаткину приехать за ним через час:

– Отвезешь меня на Брестский.

– Слушаю-с, – ответил Касаткин. – За границу, значит, отправляетесь.

– За границу.

Круто поворачивая высокого старого рысака, скребя подрезами, Касаткин неодобрительно качнул шапкой:

– Охота пуще неволи!

Большой и несколько запущенный вестибюль, просторный лифт и пестроглазый, в ржавых веснушках, мальчик Вася, вежливо стоявший в своем мундирчике, пока лифт медленно тянулся вверх, – вдруг стало жалко покидать все это, давно знакомое, привычное. «И правда, зачем я еду?» Он посмотрел на себя в зеркало: молод, бодр, сухо-породист, глаза блестят, иней на красивых усах, хорошо и легко одет... в Ницце теперь чудесно, Генрих отличный товарищ... а главное, всегда кажется, что где-то там будет что-то особенно счастливое, какая-нибудь встреча... остановишься где-нибудь в пути, – кто тут жил перед тобою, что висело и лежало в этом гардеробе, чьи это забытые в ночном столике женские шпильки? Опять будет запах газа, кофе и пива на венском вокзале, ярлыки на бутылках австрийских и итальянских вин на столиках в солнечном вагоне-ресторане в снегах Земмеринга, лица и одежды европейских мужчин и женщин, наполняющих этот вагон к завтраку... Потом ночь, Италия... Утром, по дороге вдоль моря к Ницце, то пролеты в грохочущей и дымящей темноте туннелей и слабо горящие лампочки на потолке купе, то остановки и что-то нежно и непрерывно звенящее на маленьких станциях в цветущих розах, возле млеющего в жарком солнце, как сплав драгоценных камней, заливчике... И он быстро пошел по коврам теплых коридоров Лоскутной.

В номере было тоже тепло, приятно. В окна еще светила вечерняя заря, прозрачное вогнутое небо. Все было прибрано, чемоданы готовы. И опять стало немного грустно – жаль покидать привычную комнату и всю московскую зимнюю жизнь, и Надю, и Ли...

Надя должна была вот-вот забежать проститься. Он поспешно спрятал в чемодан вино и фрукты, бросил пальто и шапку на диван за круглым столом и тотчас услышал скорый стук в дверь. Не успел отворить, как она вошла и обняла его, вся холодная и нежно-душистая, в беличьей шубке, в беличьей шапочке, во всей свежести своих шестнадцати лет, мороза, раскрасневшегося личика и ярких зеленых глаз.

– Едешь?

– Еду, Надюша...

Она вздохнула и упала в кресло, расстегивая шубку.

– Знаешь, я, слава Богу, ночью заболела... Ах, как бы я хотела проводить тебя на вокзал! Почему ты мне не позволяешь?

– Надюша, ты же сама знаешь, что это невозможно, меня будут провожать совсем незнакомые тебе люди, ты будешь чувствовать себя лишней, одинокой...

– А за то, чтобы поехать с тобой, я бы, кажется, жизнь отдала!

– А я? Но ты же знаешь, что это невозможно...

Он тесно сел к ней в кресло, целуя ее в теплую шейку, и почувствовал на своей щеке ее слезы.

– Надюша, что же это?

Она подняла лицо и с усилием улыбнулась:

– Нет, нет, я не буду... Я не хочу по-женски стеснять тебя, ты поэт, тебе необходима свобода.

– Ты у меня умница, – сказал он, умиляясь ее серьезностью и ее детским профилем – чистотой, нежностью и горячим румянцем щеки, треугольным разрезом полураскрытых губ, вопрошающей невинностью поднятой ресницы в слезах. – Ты у меня не такая, как другие женщины, ты сама поэтесса.

Она топнула в пол:

– Не смей мне говорить о других женщинах!

И с умирающими глазами зашептала ему в ухо, лаская мехом и дыханием:

– На минутку... Нынче еще можно...

Подъезд Брестского вокзала светил в синей тьме морозной ночи. Войдя в гулкий вокзал вслед за торопящимся носильщиком, он тотчас увидел Ли: тонкая, длинная, в прямой черно-маслянистой каракулевой шубке и черном бархатном большом берете, из-под которого длинными завитками висели вдоль щек черные букли, держа руки в большой каракулевой муфте, она зло смотрела на него своими страшными в своем великолепии черными глазами.

– Все-таки уезжаешь, негодяй, – безразлично сказала она, беря его под руку и спеша вместе с ним своими высокими серыми ботиками вслед за носильщиком.

– погоди, пожалеешь, другой такой не наживешь, останешься со своей дурочкой поэтессой.

– Эта дурочка еще совсем ребенок, Ли, – как тебе не грех думать Бог знает что.

– Молчи. Я-то не дурочка. И если правда есть, это Бог знает что, я тебя серной кислотой оболую.

Из-под готового поезда, сверху освещенного матовыми электрическими шарами, валил горячо шипящий серый пар, пахнувший каучуком. Международный вагон выделялся своей желтоватой деревянной обшивкой. Внутри, в его узком коридоре под красным ковром, в пестром блеске стен, обитых тисненой кожей, и толстых, зернистых дверных стекол, была уже граница. Проводник-поляк в

форменной коричневой куртке отворил дверь в маленькое купе, очень жаркое, с тугой, уже готовой постелью, мягко освещенное настольной лампочкой под шелковым красным абажуром.

– Какой ты счастливый! – сказала Ли. – Тут у тебя даже собственный нужник есть. А рядом кто? Может, какая-нибудь стерва-спутница?

И она подергала дверь в соседнее купе:

– Нет, тут заперто. Ну, счастлив твой Бог! Целуй меня скорей, сейчас будет третий звонок...

Она вынула из муфты руку, голубовато-бледную, изысканно-худую, с длинными, острыми ногтями, и, извиваясь, порывисто обняла его, неумеренно сверкая глазами, целуя и кусая то в губы, то в щеки и шепча:

– Я тебя обожаю, обожаю, негодяй!

За черным окном огненной ведьмой неслись назад крупные оранжевые искры, мелькали освещаемые поездом белые снежные скаты и черные чащи соснового леса, таинственные и угрюмые в своей неподвижности, в загадочности своей зимней ночной жизни. Он закрыл под столиком раскаленную топку, опустил на холодное стекло плотную штору и постучал в дверь возле умывальника, соединявшую его и соседнее купе. Дверь оттуда отворилась, и, смеясь, вошла Генрих, очень высокая, в сером платье, с греческой прической рыже-лимонных волос, с тонкими, как у англичанки, чертами лица, с живыми янтарно-коричневыми глазами.

– Ну что, попрощался? Я все слышала. Мне больше всего понравилось, как она ломилась ко мне и обложила меня стервой.

– Начинаешь ревновать, Генрих?

– Не начинаю, а продолжаю. Не будь она так опасна, я давно бы потребовала ее полной отставки.

– Вот в том-то и дело, что опасна, попробуй-ка сразу отставить такую! А потом, ведь переносу же я твоего австрийца и то, что послезавтра ты будешь ночевать с ним.

– Нет, ночевать я с ним не буду. Ты отлично знаешь, что я еду прежде всего затем, чтобы развязаться с ним.

– Могла бы сделать это письменно. И отлично могла бы ехать прямо со мной. Она вздохнула и села, поправляя блестящими пальцами волосы, мягко касаясь их, положив ногу на ногу в серых замшевых туфлях с серебряными пряжками:

– Нет, мой друг, я хочу расстаться с ним так, чтобы иметь возможность продолжать работать у него. Он человек расчетливый и пойдет на мирный разрыв. Кого он найдет, кто бы мог, как я, снабжать его журнал всеми

театральными, литературными, художественными скандалами Москвы и Петербурга? Кто будет переводить и устраивать его гениальные новеллы? Нынче пятнадцатое. Ты, значит, будешь в Ницце восемнадцатого, а я не позднее двадцатого, двадцать первого. И довольно об этом, мы ведь с тобой прежде всего добрые друзья и товарищи.

– Товарищи... – сказал он, радостно глядя на ее тонкое лицо в алых прозрачных пятнах на щеках. – Конечно, лучшего товарища, чем ты, Генрих, у меня никогда не будет. Только с тобой одной мне всегда легко, свободно, можно говорить обо всем действительно как с другом, но, знаешь, какая беда? Я все больше влюбляюсь в тебя.

– А где ты был вчера вечером?

– Вечером? Дома.

– А с кем? Ну да Бог с тобой. А ночью тебя видели в «Стрельне», ты был в какой-то большой компании в отдельном кабинете, с цыганами. Вот это уже дурной тон – Степы, Груши, их роковые очи...

– А венские пропойцы, вроде Пшибышевского?

– Они, мой друг, случайность и совсем не по моей части. Она правда так хороша, как говорят, эта Маша?

– Цыганщина тоже не по моей части, Генрих. А Маша...

– Ну, ну, опиши мне ее.

– Нет, вы положительно становитесь ревнивы, Елена Генриховна. Что ж тут описывать, не видала ты, что ли, цыганок? Очень худа и даже не хороша – плоские дегтярные волосы, довольно грубое кофейное лицо, бессмысленные синеватые белки, лошадиные ключицы в каком-то желтом крупном ожерелье, плоский живот... это-то, впрочем, очень хорошо вместе с длинным шелковым платьем цвета золотистой луковой шелухи. И знаешь – как подберет на руки шаль из тяжелого старого шелка и пойдет под бубны мелькать из-под подола маленькими башмачками, мотая длинными серебряными серьгами, – просто несчастье! Но идем обедать.

Она встала, легонько усмехнувшись:

– Идем. Ты неисправим, друг мой. Но будем довольны тем, что Бог дает.

Смотри, как у нас хорошо. Две чудесных комнатки!

– И одна совсем лишняя...

Она накинула на волосы вязаный оренбургский платок, он надел дорожную каскетку, и они, качаясь, пошли по бесконечным туннелям вагонов, переходя железные лязгающие мостики в холодных, сквозящих и сыплющих снежной пылью гармониках между вагонами.

Он вернулся один, – сидел в ресторане, курил, – она ушла вперед. Когда вернулся, почувствовал в теплом купе счастье совсем семейной ночи. Она откинула на постели угол одеяла и простыни, вынула его ночное белье, поставила на столик вино, положила плетенную из дранок коробку с грушами и стояла, держа шпильки в губах, подняв голые руки к волосам и выставив полные груди, перед зеркалом над умывальником, уже в одной рубашке и на босу ногу в ночных туфлях, отороченных песцом. Талия у нее была тонкая, бедра полновесные, щиколки легкие, точеные. Он долго целовал ее стоя, потом они сели на постель и стали пить рейнское вино, опять целуясь холодными от вина губами.

– А Ли? – сказала она. – А Маша?

Ночью, лежа с ней рядом в темноте, он говорил с шутливой грустью:

– Ах, Генрих, как люблю я вот такие вагонные ночи, эту темноту в мотающемся вагоне, мелькающие за шторой огни станции – и вас, вас, «жены человеческие, сеть прельщения человеком»! Эта «сеть» нечто поистине неизъяснимое, Божественное и дьявольское, и когда я пишу об этом, пытаюсь выразить его, меня упрекают в бесстыдстве, в низких побуждениях... Подлые души! Хорошо сказано в одной старинной книге: «Сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих словесных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена предоставлено было в этом случае живописцам и ваятелям: только подлые души видят подлое даже в прекрасном или ужасном».

– А у Ли, – спросила Генрих, – груди, конечно, острые, маленькие, торчащие в разные стороны? Верный признак истеричек.

– Да.

– Она глупа?

– Нет... Впрочем, не знаю. Иногда как будто очень умна, разумна, проста, легка и весела, все схватывает с первого слова, а иногда несет такой высокопарный, пошлый или злой, запальчивый вздор, что я сижу и слушаю ее с напряжением и тупостью идиота, как глухонемой... Но ты мне надоела с Ли.

– Надоела, потому что не хочу больше быть товарищем тебе.

– И я этого больше не хочу. И еще раз говорю: напиши этому венскому прохвосту, что ты увидишься с ним на возвратном пути, а сейчас нездорова, должна отдохнуть после инфлуэнции в Ницце. И поедем, не расставаясь, и не в Ниццу, а куда-нибудь в Италию...

– А почему не в Ниццу?

– Не знаю. Вдруг почему-то расхотелось. Главное – поедем вместе!

– Милый, мы об этом уже говорили. И почему Италия? Ты же уверял меня, что возненавидел Италию.

– Да, правда. Я зол на нее из-за наших эстетствующих болванов. «Я люблю во Флоренции только треченто...» А сам родился в Белеве и во Флоренции был всего одну неделю за всю жизнь. Треченто, кватроченто... И я возненавидел всех этих Фра Анжелико, Гирляндайо, треченто, кватроченто и даже Беатриче и сухоликого Данте в бабьем шлыке и лавровом венке... Ну, если не в Италию, то поедем куда-нибудь в Тироль, в Швейцарию, вообще в горы, какую-нибудь каменную деревушку среди этих торчащих в небе пестрых от снега гранитных дьяволов... Представь себе только: острый, сырой воздух, эти дикие каменные хижины, крутые крыши, сбитые в кучу возле горбатого каменного моста, под ним быстрый шум молочно-зеленой речки, бряканье колоколец тесно, тесно идущего овечьего стада, тут же аптека и магазин с альпенштоками, страшно теплый отельчик с ветвистыми оленьими рогами над дверью, словно нарочно вырезанными из пемзы... словом, дно ущелья, где тысячу лет живет эта чуждая всему миру горная дикость, родит, венчает, хоронит, и века веков высоко глядит из-за гранитов над нею какая-нибудь вечно белая гора, как исполинский мертвый ангел... А какие там девки, Генрих! Тугие, краснощекие, в черных корсажах, в красных шерстяных чулках...

– Ох, уж мне эти поэты! – сказала она с ласковым зевком. – И опять девки, девки... Нет, в деревушке холодно, милый. И никаких девок я больше не желаю...

В Варшаве, под вечер, когда переезжали на Венский вокзал, дул навстречу мокрый ветер с редким и крупным холодным дождем, у морщинистого извозчика, сидевшего на козлах просторной коляски и сердито гнавшего пару лошадей, трепались литовские усы и текло с кожаного картуза, улицы казались провинциальными.

На рассвете, подняв штору, он увидел бледную от жидкого снега равнину, на которой кое-где краснели кирпичные домики. Тотчас после того остановились и довольно долго стояли на большой станции, где, после России, все казалось очень мало, – вагончики на путях, узкие рельсы, железные столбики фонарей, – и всюду чернели вороха каменного угля; маленький солдат с винтовкой, в высоком кепи, усеченным конусом, и в короткой мышино-голубой шинели шел, переходя пути, от паровозного депо; по деревянной настилке под окнами ходил долговязый усатый человек в клетчатой куртке с воротником из заячьего меха и зеленой тирольской шляпе с пестрым перышком сзади. Генрих проснулась и

шепотом попросила опустить штору. Он опустил и лег в ее тепло, под одеяло. Она положила голову на его плечо и заплакала.

– Генрих, что ты? – сказал он.

– Не знаю, милый, – ответила она тихо. – Я на рассвете часто плачу.

Проснешься, и так вдруг станет жалко себя... Через несколько часов ты уедешь, а я останусь одна, пойду в кафе ждать своего австрийца... А вечером опять кафе и венгерский оркестр, эти режущие душу скрипки...

– Да, да, и пронзительные цимбалы... Вот я и говорю: пошли австрияка к черту и поедем дальше.

– Нет, милый, нельзя. Чем же я буду жить, поссорившись с ним? Но клянусь тебе, ничего у меня с ним не будет. Знаешь, в последний раз, когда я уезжала из Вены, мы с ним уже выясняли, как говорится, отношения – ночью, на улице, под газовым фонарем. И ты не можешь себе представить, какая ненависть была у него в лице! Лицо от газа и злобы бледно-зеленое, оливковое, фисташковое... Но, главное, как я могу теперь, после тебя, после этого купе, которое сделало нас уж такими близкими...

– Слушай, правда?

Она прижала его к себе и стала целовать так крепко, что у него перехватывало дыхание.

– Генрих, я не узнаю тебя.

– И я себя. Но иди, иди ко мне.

– погоди...

– Нет, нет, сию минуту!

– Только одно слово: скажи точно, когда ты выедешь из Вены?

– Нынче вечером, нынче же вечером!

Поезд уже двигался, мимо двери мягко шли и звенели по ковру шпоры пограничников.

И был венский вокзал, и запах газа, кофе и пива, и уехала Генрих, нарядная, грустно улыбающаяся, на нервной, деликатной европейской кляче, в открытом ландо с красноносый извозчиком в пелерине и лакированном цилиндре на высоких козлах, снявшим с этой клячи одеяльце и загукавшим и захлопавшим длинным бичом, когда она задергала своими аристократическими, длинными, разбитыми ногами и косо побежала с своим коротко обрезанным хвостом вслед за желтым трамваем. Был Земмеринг и вся заграничная праздничность горного полдня, левое жаркое окно в вагоне-ресторане, букетик цветов, аполлинарис и красное вино «Феслау» на ослепительно-белом столике возле окна и ослепительно-белый полуденный блеск снеговых вершин, восставших в своем

торжественно-радостном облачении в райское индиго неба, рукой подать от поезда, извивавшегося по обрывам над узкой бездной, где холодно синела зимняя, еще утренняя тень. Был морозный, перевозданно-непорочный, чистый, мертвенно алевший и синевший к ночи вечер на каком-то перевале, тонувшем со всеми своими зелеными елями в великом обилии свежих пухлых снегов. Потом была долгая стоянка в темной теснине, возле итальянской границы, среди черного Дантова ада гор, и какой-то воспаленно-красный, дымящий огонь при входе в закопченную пасть туннеля. Потом – все уже совсем другое, ни на что прежнее не похожее: старый, облезло-розовый итальянский вокзал и петушиная гордость и петушиные перья на касках коротконогих вокзальных солдатиков, и вместо буфета на вокзале – одинокий мальчишка, лениво кативший мимо поезда тележку, на которой были только апельсины и фиаски. А дальше уже вольный, все ускоряющийся бег поезда вниз, вниз и все мягче, все теплее бьющий из темноты в открытые окна ветер Ломбардской равнины, усеянной вдали ласковыми огнями милой Италии. И перед вечером следующего, совсем летнего дня – вокзал Ниццы, сезонное многолюдство на его платформах...

В синие сумерки, когда до самого Антибского мыса, пепельным призраком таявшего на западе, протянулись изогнутой алмазной цепью несчетные береговые огни, он стоял в одном фраке на балконе своей комнаты в отеле на набережной, думал о том, что в Москве теперь двадцать градусов морозу, и ждал, что сейчас постучат к нему в дверь и подадут телеграмму от Генриха. Обедая в столовой отеля, под сверкающими люстрами, в тесноте фраков и вечерних женских платьев, опять ждал, что вот-вот мальчик в голубой форменной курточке до пояса и в белых вязаных перчатках почтительно поднесет ему на подносе телеграмму; рассеянно ел жидкий суп с кореньями, пил красное бордо и ждал; пил кофе, курил в вестибюле и опять ждал, все больше волнуясь и удивляясь: что это со мною, с самой ранней молодости не испытывал ничего подобного! Но телеграммы все не было. Блестя, мелькая, скользили вверх и вниз лифты, бегали взад и вперед мальчишки, разнося папиросы, сигары и вечерние газеты, ударил с эстрады струнный оркестр – телеграммы все не было, а был уже одиннадцатый час, а поезд из Вены должен был привезти ее в двенадцать. Он выпил за кофе пять рюмок коньяку и, утомленный, брезгливый, поехал в лифте к себе, злобно глядя на мальчишка в форме: «Ах, какая каналья вырастет из этого хитрого, услужливого, уже насквозь развращенного мальчишки! И кто это выдумывает всем этим мальчишкам какие-то дурацкие шапочки и курточки, то голубые, то коричневые, с погончиками, кантиками!»

Не было телеграммы и утром. Он позвонил, молоденький лакеи во фраке, итальянский красавчик с газельими глазами, принес ему кофе: «Pas de lettres, monsieur, pas de telegrammes».[16] Он постоял в пижаме возле открытой на балкон двери, щурясь от солнца и пляшущего золотыми иглами моря, глядя на набережную, на густую толпу гуляющих, слушая доносящееся снизу, из-под балкона, итальянское пение, изнемогающее от счастья, и с наслаждением думал: «Ну и черт с ней. Все понятно».

Он поехал в Монте-Карло, долго играл, проиграл двести франков, поехал назад, чтобы убить время, на извозчике – ехал чуть не три часа: топ-топ, топ-топ, уи! и крутой выстрел бича в воздухе... Портье радостно осклабился:

– Pas de telegrammes, monsieur!

Он тупо одевался к обеду, думая все одно и то же.

«Если бы сейчас вдруг постучали в дверь и она вдруг вошла, спеша, волнуясь, на ходу объясняя, почему она не телеграфировала, почему не приехала вчера, я бы, кажется, умер от счастья! Я сказал бы ей, что никогда в жизни, никого на свете так не любил, как ее, что Бог многое простит мне за такую любовь, простит даже Надю, – возьми меня всего, всего, Генрих! Да, а Генрих обедает сейчас со своим австрияком. Ух, какое это было бы упоение – дать ей самую зверскую пощечину и проломить ему голову бутылкой шампанского, которое они распивают сейчас вместе!»

После обеда он ходил в густой толпе по улицам, в теплом воздухе, в сладкой вони копеечных итальянских сигар, выходил на набережную, к смоляной черноте моря, глядел на драгоценное ожерелье его черного изгиба, печально пропадающего вдаль направо, заходил в бары и все пил, то коньяк, то джин, то виски. Возвратясь в отель, он, белый как мел, в белом галстуке, в белом жилете, в цилиндре, важно и небрежно подошел к портье, бормоча мертвеющими губами:

– Pas de telegrammes?

И портье, делая вид, что ничего не замечает, ответил с радостной готовностью:

– Pas de telegrammes, monsieur!

Он был так пьян, что заснул, сбросив с себя только цилиндр, пальто и фрак, – упал навзничь и тотчас головокружительно полетел в бездонную темноту, испещренную огненными звездами.

На третий день он крепко заснул после завтрака и, проснувшись, вдруг взглянул на все свое жалкое и постыдное поведение трезво и твердо. Он потребовал к себе в комнату чаю и стал убирать из гардероба вещи в чемоданы, стараясь больше не думать о ней и не жалеть о своей бессмысленной, испорченной

поездке. Перед вечером спустился в вестибюль, заказал приготовить счет, спокойным шагом пошел к Куку и взял билет в Москву через Венецию в вечернем поезде: пробуду в Венеции день и в три ночи прямым путем, без остановок, домой, в Лоскутную... Какой он, этот австрияк? По портретам и по рассказам Генриха, рослый, жилистый, с мрачным и решительным – конечно, наигранным, – взглядом косо-склоненного из-под широкополой шляпы лица... Но что о нем думать! И мало ли что будет еще в жизни! Завтра Венеция. Опять пение и гитары уличных певцов на набережной под отелем, – выделяется резкий и безучастный голос черной простоволосой женщины, с шалью на плечах, вторящей разливающемуся коротконогому, кажущемуся с высоты карликом, тенору в шляпе нищего... старичок в лохмотьях, помогающий входить в гондолу – прошлый год помогал входить с огнеглазой сицилианкой в хрустальных качающихся серьгах, с желтой кистью цветущей мимозы в волосах цвета маслины... запах гниющей воды канала, погребально лакированная внутри гондола с зубчатой, хищной секирой на носу, ее покачивание и высоко стоящий на корме молодой гребец с тонкой, перепоясанной красным шарфом талией, однообразно подающийся вперед, налегая на длинное весло, классически отставивши левую ногу назад...

Вечерело, вечернее бледное море лежало спокойно и плоско, зеленоватым сплавом с опаловым гляncем, над ним зло и жалостно надрывались чайки, чуя на завтра непогоду, дымчато-сизый запад за Антибским мысом был мутен, в нем стоял и мерк диск маленького солнца, апельсина-королька. Он долго глядел на него, подавленный ровной безнадежной тоской, потом очнулся и бодро пошел к своему отелю. «*Journaux etrangers!*»[17] – крикнул бежавший навстречу газетчик и на бегу сунул ему «Новое время». Он сел на скамью и при гаснущем свете зари стал рассеянно развертывать и просматривать еще свежие страницы газеты. И вдруг вскочил, оглушенный и ослепленный как бы взрывом магния: «Вена. 17 декабря. Сегодня, в ресторане „*Franzensring*“ известный австрийский писатель Артур Шпиглер убил выстрелом из револьвера русскую журналистку и переводчицу многих современных австрийских и немецких новеллистов, работавшую под псевдонимом „Генрих“».

## **КАВКАЗ**

Приехав в Москву, я воровски остановился в незаметных номерах в переулке возле Арбата и жил томительно, затворником — от свидания до свидания с нею.

Была она у меня за эти дни всего три раза и каждый раз входила поспешно со словами:

— Я только на одну минуту...

Она была бледна прекрасной бледностью любящей взволнованной женщины, голос у нее срывался, и то, как она, бросив куда попало зонтик, спешила поднять вуальку и обнять меня, потрясало меня жалостью и восторгом.

— Мне кажется, — говорила она, — что он что-то подозревает, что он даже знает что-то, — может быть, прочитал какое-нибудь ваше письмо, подобрал ключ к моему столу... Я думаю, что он на все способен при его жестоком, самолюбивом характере. Раз он мне прямо сказал: «Я ни перед чем не остановлюсь, защищая свою честь, честь мужа и офицера!» Теперь он почему-то следит буквально за каждым моим шагом, и, чтобы наш план удался, я должна быть страшно осторожна. Он уже согласен отпустить меня, так внушила я ему, что умру, если не увижу юга, моря, но, ради бога, будьте терпеливы!

План наш был дерзок: уехать в одном и том же поезде на кавказское побережье и прожить там в каком-нибудь совсем диком месте три-четыре недели. Я знал это побережье, жил когда-то некоторое время возле Сочи, — молодой, одинокий, — на всю жизнь запомнил те осенние вечера среди черных кипарисов, у холодных серых волн... И она бледнела, когда я говорил: «А теперь я там буду с тобой, в горных джунглях, у тропического моря...» В осуществление нашего плана мы не верили до последней минуты — слишком великим счастьем казалось нам это.

В Москве шли холодные дожди, похоже было на то, что лето уже прошло и не вернется, было грязно, сумрачно, улицы мокро и черно блестели раскрытыми зонтами прохожих и поднятыми, дрожащими на бегу верхами извозничьих пролеток. И был темный, отвратительный вечер, когда я ехал на вокзал, все внутри у меня замирало от тревоги и холода. По вокзалу и по платформе я пробежал бегом, надвинув на глаза шляпу и уткнув лицо в воротник пальто. В маленьком купе первого класса, которое я заказал заранее, шумно лил дождь по крыше. Я немедля опустил оконную занавеску и, как только носильщик, обтирая мокрую руку о свой белый фартук, взял на чай и вышел, на замок запер дверь. Потом чуть приоткрыл занавеску и замер, не сводя глаз с разнообразной толпы, взад и вперед сновавшей с вещами вдоль вагона в темном свете вокзальных фонарей. Мы условились, что я приеду на вокзал как можно раньше, а она как можно позже, чтобы мне как-нибудь не столкнуться с ней и с ним на платформе. Теперь им уже пора было быть. Я смотрел все напряженнее — их все не было. Ударил второй звонок — я похолодел от страха: опоздала или он в

последнюю минуту вдруг не пустил ее! Но тотчас вслед за тем был поражен его высокой фигурой, офицерским картузом, узкой шинелью и рукой в замшевой перчатке, которой он, широко шагая, держал ее под руку. Я отшатнулся от окна, упал в угол дивана, рядом был вагон второго класса — я мысленно видел, как он хозяйственно вошел в него вместе с нею, оглянулся, — хорошо ли устроил ее носильщик, — и снял перчатку, снял картуз, целуясь с ней, крестя ее... Третий звонок оглушил меня, тронувшийся поезд поверг в оцепенение... Поезд расходился, мотаясь, качаясь, потом стал нести ровно, на всех парах... Кондуктору, который проводил ее ко мне и перенес ее вещи, я ледяной рукой сунул десятирублевую бумажку...

Войдя, она даже не поцеловала меня, только жалостно улыбнулась, садясь на диван и снимая, отцепляя от волос шляпку.

— Я совсем не могла обедать, — сказала она. — Я думала, что не выдержу эту страшную роль до конца. И ужасно хочу пить. Дай мне нарзану, — сказала она в первый раз говоря мне «ты». — Я убеждена, что он поедет вслед за мною. Я дала ему два адреса, Геленджик и Гагры. Ну вот, он и будет дня через три-четыре в Геленджике... Но бог с ним, лучше смерть, чем эти муки...

Утром, когда я вышел в коридор, в нем было солнечно, душно, из уборных пахло мылом, одеколоном и всем, чем пахнет людный вагон утром. За мутными от пыли и нагретыми окнами шла ровная выжженная степь, видны были пыльные широкие дороги, арбы, влекомые волами, мелькали железнодорожные будки с канареечными кругами подсолнечников и алыми мальвами в палисадниках... Дальше пошел безграничный простор нагих равнин с курганами и могильниками, нестерпимое сухое солнце, небо подобное пыльной туче, потом призраки первых гор на горизонте...

Из Геленджика и Гагр она послала ему по открытке, написала, что еще не знает, где останется.

Потом мы спустились вдоль берега к югу.

Мы нашли место первобытное, заросшее чинаровыми лесами, цветущими кустарниками, красным деревом, магнолиями, гранатами, среди которых поднимались веерные пальмы, чернели кипарисы...

Я просыпался рано и, пока она спала, до чая, который мы пили часов в семь, шел по холмам в лесные чащи. Горячее солнце было уже сильно, чисто и радостно. В лесах лазурно светился, расходился и таял душистый туман, за дальними лесистыми вершинами сияла предвечная белизна снежных гор... Назад я проходил по знойному и пахнущему из труб горящим кизяком базару нашей деревни: там кипела торговля, было тесно от народа, от верховых лошадей и

осликов, — по утрам съезжалось туда на базар множество разноплеменных горцев, — плавно ходили черкешенки в черных длинных до земли одеждах, в красных чувяках, с закутанными во что-то черное головами, с быстрыми птичьими взглядами, мелькавшими порой из этой траурной запутанности. Потом мы уходили на берег, всегда совсем пустой, купались и лежали на солнце до самого завтрака. После завтрака — все жаренная на шкаре рыба, белое вино, орехи и фрукты — в знойном сумраке нашей хижины под черепичной крышей тянулись через сквозные ставни горячие, веселые полосы света. Когда жар спадал и мы открывали окно, часть моря, видная из него между кипарисов, стоявших на скате под нами, имела цвет фиалки и лежала так ровно, мирно, что, казалось, никогда не будет конца этому покою, этой красоте. На закате часто громоздились за морем удивительные облака; они пылали так великолепно, что она порой ложилась на тахту, закрывала лицо газовым шарфом и плакала: еще две, три недели — и опять Москва!

Ночи были теплы и непроглядны, в черной тьме плыли, мерцали, светили топазовым светом огненные мухи, стеклянными колокольчиками звенели древесные лягушки. Когда глаз привыкал к темноте, выступали вверху звезды и гребни гор, над деревней вырисовывались деревья, которых мы не замечали днем. И всю ночь слышался оттуда, из духана, глухой стук в барабан и горловой, заунывный, безнадежно-счастливый вопль как будто все одной и той же бесконечной песни.

Недалеко от нас, в прибрежном овраге, спускавшемся из лесу к морю, быстро прыгала по каменистому ложу мелкая, прозрачная речка. Как чудесно дробился, кипел ее блеск в тот таинственный час, когда из-за гор и лесов, точно какое-то дивное существо, пристально смотрела поздняя луна!

Иногда по ночам надвигались с гор страшные тучи, шла злобная буря, в шумной гробовой черноте лесов то и дело разверзались волшебные зеленые бездны и раскалывались в небесных высотах допотопные удары грома. Тогда в лесах просыпались и мяукали орлята, ревел барс, тьякали чекалки... Раз к нашему освещенному окну сбежалась целая стая их, — они всегда сбегаются в такие ночи к жилью, — мы открыли окно и смотрели на них сверху, а они стояли под блестящим ливнем и тьякали, просились к нам... Она радостно плакала, глядя на них.

Он искал ее в Геленджике, в Гаграх, в Сочи. На другой день по приезде в Сочи, он купался утром в море, потом брился, надел чистое белье, белоснежный китель, позавтракал в своей гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку

шампанского, пил кофе с шартрезом, не спеша выкурил сигару. Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов.

12 ноября 1937

## **В ПАРИЖЕ**

Когда он был в шляпе, — шел по улице или стоял в вагоне метро, — и не видно было, что его коротко стриженные красноватые волосы остро серебрятся, по свежести его худого, бритого лица, по прямой выправке худой, высокой фигуры в длинном непромокаемом пальто, ему можно было дать не больше сорока лет. Только светлые глаза его смотрели с сухой грустью и говорил и держался он как человек, много испытавший в жизни. Одно время он арендовал ферму в Провансе, слышался едких провансальских шуток и в Париже любил иногда вставлять их с усмешкой в свою всегда сжатую речь. Многие знали, что еще в Константинополе его бросила жена и что живет он с тех пор с постоянной раной в душе. Он никогда и никому не открывал тайны этой раны, но иногда невольно намекал на нее, — неприятно шутил, если разговор касался женщин:

— Rien n'est plus difficile que de reconnaître un bon melon et une femme de bien 1.

Однажды, в сырой парижский вечер поздней осенью, он зашел пообедать в небольшую русскую столовую в одном из темных переулков возле улицы Пасси. При столовой было нечто вроде гастрономического магазина — он бессознательно остановился перед его широким окном, за которым были видны на подоконнике розовые бутылки конусом с рябиновкой и желтые кубастые с зубровкой, блюдо с засохшими жареными пирожками, блюдо с посеребренными рублеными котлетами, коробка халвы, коробка шпротов, дальше стойка, уставленная закусками, за стойкой хозяйка с неприязненным русским лицом. В магазине было светло, и его потянуло на этот свет из темного переулка с холодной и точно сальной мостовой. Он вошел, поклонился хозяйке и прошел в еще пустую, слабо освещенную комнату, прилегавшую к магазину, где белели накрытые бумагой столики. Там он не спеша повесил свою серую шляпу и длинное пальто на рога стоячей вешалки, сел за столик в самом дальнем углу и, рассеянно потирая руки с рыжими волосатыми кистями, стал читать бесконечное перечисление закусок и кушаний, частью напечатанное, частью написанное расплывшимися лиловыми чернилами на просаленном листе. Вдруг его угол осветился, и он увидел безучастно-вежливо подходящую женщину лет тридцати, с черными волосами на прямой пробор и черными глазами, в белом переднике с прошивками и в черном платье.

— Bonsoir, monsieur 2, — сказала она приятным голосом.

Она показалась ему так хороша, что он смутился и неловко ответил:

— Bonsoir... Но вы ведь русская?

— Русская. Извините, образовалась привычка говорить с гостями по-французски.

— Да разве у вас много бывает французов?

— Довольно много, и все спрашивают непременно зубровку, блины, даже борщ. Вы что-нибудь уже выбрали?

— Нет, тут столько всего... Вы уже сами посоветуйте что-нибудь.

Она стала перечислять заученным тоном:

— Нынче у нас щи флотские, битки по-казацки... можно иметь отбивную телячью котлетку или, если желаете, шашлык по-карски...

— Прекрасно. Будьте добры дать щи и битки.

Она подняла висевший у нее на поясе блокнот и записала на нем кусочком карандаша. Руки у нее были очень белые и благородной формы, платье поношенное, но, видно, из хорошего дома.

— Водочки желаете?

— Охотно. Сырость на дворе ужасная.

— Закусить что прикажете? Есть чудная дунайская сельдь, красная икра недавней полочки, коркуновские огурчики малосольные...

Он опять взглянул на нее: очень красив белый передник с прошивками на черном платье, красиво выдаются под ним груди сильной молодой женщины... полные губы не накрашены, но свежи, на голове просто свернутая черная коса, но кожа на белой руке холеная, ногти блестящие и чуть розовые, — виден маникюр...

— Что я прикажу закусить? — сказал он, улыбаясь. — Если позволите, только селедку с горячим картофелем.

— А вино какое прикажете?

— Красное. Обыкновенное, — какое у вас всегда дают к столу.

Она отметила на блокноте и переставила с соседнего стола на его стол графин с водой. Он закачал головой:

— Нет, мерси, ни воды, ни вина с водой никогда не лью. *L'eau gate le vin comme la charette le chemin et la femme* — l'âme 3.

— Хорошего же вы мнения о нас! — безразлично ответила она и пошла за водкой и селедкой. Он посмотрел ей вслед — на то, как ровно она держалась, как колебалось на ходу ее черное платье... Да, вежливость и безразличие, все повадки и движения скромной и достойной служащей. Но дорогие хорошие

туфли. Откуда? Есть, вероятно, пожилой, состоятельный «ami»... 4 Он давно не был так оживлен, как в этот вечер, благодаря ей, и последняя мысль возбудила в нем некоторое раздражение. Да, из году в год, изо дня в день, втайне ждешь только одного, — счастливой любовной встречи, живешь, в сущности, только надеждой на эту встречу — и все напрасно...

На другой день он опять пришел и сел за свой столик. Она была сперва занята, принимала заказ двух французов и вслух повторяла, отмечая на блокноте: — Caviar rouge, salade russe... Deux chachlyks... 5

Потом вышла, вернулась и пошла к нему с легкой улыбкой, уже как к знакомому:

— Добрый вечер. Приятно, что вам у нас понравилось.

Он весело приподнялся:

— Доброго здоровья. Очень понравилось. Как вас величать прикажете?

— Ольга Александровна. А вас, позвольте узнать?

— Николай Платоныч.

Они пожали друг другу руки, и она подняла блокнот:

— Нынче у нас чудный рассольник. Повар у нас замечательный, на яхте у великого князя Александра Михайловича служил.

— Прекрасно, рассольник так рассольник... А вы давно тут работаете?

— Третий месяц.

— А раньше где?

— Раньше была продавщицей в Printemps.

— Верно, из-за сокращений лишились места?

— Да, по доброй воле не ушла бы.

Он с удовольствием подумал: «Значит, дело не в „ami“», — и спросил:

— Вы замужняя?

— Да.

— А муж ваш что делает?

— Работает в Югославии. Бывший участник белого движения. Вы, вероятно, тоже?

— Да, участвовал и в великой и в гражданской войне.

— Это сразу видно. И, вероятно, генерал, — сказала она, улыбаясь.

— Бывший. Теперь пишу истории этих войн по заказам разных иностранных издательств... Как же это вы одна?

— Так вот и одна...

На третий вечер он спросил:

— Вы любите синема?

Она ответила, ставя на стол мисочку с борщом:

— Иногда бывает интересно.

— Вот теперь идет в синема «Etoile» какой-то, говорят, замечательный фильм. Хотите пойдём посмотрим? У вас есть, конечно, выходные дни?

— Мерси. Я свободна по понедельникам.

— Ну вот и пойдём в понедельник. Нынче что? Суббота? Значит послезавтра. Идет?

— Идет. Завтра вы, очевидно, не придете?

— Нет, еду за город, к знакомым. А почему вы спрашиваете?

— Не знаю... Это странно, но я уж как-то привыкла к вам.

Он благодарно взглянул на нее и покраснел:

— И я к вам. Знаете, на свете так мало счастливых встреч...

И поспешил переменить разговор:

— Итак, послезавтра. Где же нам встретиться? Вы где живете?

— Возле метро Motte-Picquet.

— Видите, как удобно, — прямой путь до Etoile. Я буду ждать вас там при выходе из метро ровно в восемь с половиной.

— Мерси.

Он шутливо поклонился:

— C'est moi qui vous remercie 6. Уложите детей, — улыбаясь, сказал он, чтобы узнать, нет ли у нее ребенка, — и приезжайте.

— Слава богу, этого добра у меня нет, — ответила она и плавно понесла от него тарелки.

Он был и растроган и хмурился, идя домой. «Я уже привыкла к вам...» Да, может быть, это и есть долгожданная счастливая встреча. Только поздно, поздно. Le bon Dieu envoie toujours des culottes á ceux qui n'ont pas de derrière... 7

Вечером в понедельник шел дождь, мглистое небо над Парижем мутно краснело. Надеюсь поужинать с ней на Монпарнассе, он не обедал, зашел в кафе на Chaussée de la Muette, съел сэндвич с ветчиной, выпил кружку пива и, закурив, сел в такси. У входа в метро Etoile остановил шофера и вышел под дождь на тротуар — толстый, с багровыми щеками шофер доверчиво стал ждать его. Из метро несло банным ветром, густо и черно поднимался по лестницам народ, раскрывая на ходу зонтики, газетчик резко выкрикивал возле него низким утиным кряканьем названия вечерних выпусков. Внезапно в подымавшейся толпе показалась она. Он радостно двинулся к ней навстречу:

— Ольга Александровна...

Нарядно и модно одетая, она свободно, не так, как в столовой, подняла на него черно-подведенные глаза, дамским движением подала руку, на которой висел зонтик, подхватив другой подол длинного вечернего платья, — он обрадовался еще больше: «Вечернее платье, — значит, тоже думала, что после синема поедем куда-нибудь», — и отвернул край ее перчатки, поцеловал кисть белой руки.

— Бедный, вы долго ждали?

— Нет, я только что приехал. Идем скорей в такси...

И с давно не испытанным волнением он вошел за ней в полутемную пахнущую сырým сукном карету. На повороте карету сильно качнуло, внутренность ее на мгновение осветил фонарь, — он невольно поддержал ее за талию, почувствовал запах пудры от ее щеки, увидел ее крупные колени под вечерним черным платьем, блеск черного глаза и полные в красной помаде губы: совсем другая женщина сидела теперь возле него.

В темном зале, глядя на сияющую белизну экрана, по которой косо летали и падали в облаках гулко жужжащие распластанные аэропланы, они тихо переговаривались:

— Вы одна или с какой-нибудь подругой живете?

— Одна. В сущности, ужасно. Отельчик чистый, теплый, но, знаете, из тех, куда можно зайти на ночь или на часы с девицей... Шестой этаж, лифта, конечно, нет, на четвертом этаже красный коврик на лестнице кончается... Ночью, в дождь страшная тоска. Раскроешь окно — ни души нигде, совсем мертвый город, бог знает где-то внизу один фонарь под дождем... А вы, конечно, холостой и тоже в отеле живете?

— У меня небольшая квартирка в Пасси. Живу тоже один. Давний парижанин. Одно время жил в Провансе, снял ферму, хотел удалиться от всех и ото всего, жить трудами рук своих — и не вынес этих трудов. Взял в помощники одного казачка, оказался пьяница, мрачный, страшный во хмелю человек, завел кур, кроликов —дохнут, мул однажды чуть не загрыз меня, — очень злое и умное животное... И, главное, полное одиночество. Жена меня еще в Константинополе бросила.

— Вы шутите?

— Ничуть. История очень обыкновенная. *Qui se marie par amour a bonne nuits et mauvais jours* 8. А у меня даже и того и другого было очень мало. Бросила на второй год замужества.

— Где же она теперь?

— Не знаю...

Она долго молчала. По экрану дурачки бегал на раскинутых ступнях в нелепо огромных разбитых башмаках и в котелке набок какой-то подражатель Чаплина.

— Да, вам, верно, очень одиноко, — сказала она.

— Да. Но что ж, надо терпеть. *Patience — médecine des pauvres* 9.

— Очень грустная *médecine*.

— Да, невеселая. До того, — сказал он, усмехаясь, — что я иногда даже в «Иллюстрированную Россию» заглядывал, — там, знаете, есть такой отдел, где печатается нечто вроде брачных и любовных объявлений: «Русская девушка из Латвии скучает и желала бы переписываться с чутким русским парижанином, прося при этом прислать фотографическую карточку... Серьезная дама шатенка, не модерн, но симпатичная, вдова с девятилетним сыном, ищет переписки с серьезной целью с трезвым господином не моложе сорока лет, материально обеспеченным шоферской или какой-либо другой работой, любящим семейный уют. Интеллигентность не обязательна...» Вполне ее понимаю — не обязательна.

— Но разве у вас нет друзей, знакомых?

— Друзей нет. А знакомства плохая утеха.

— Кто же ваше хозяйство ведет?

— Хозяйство у меня скромное. Кофе варю себе сам, завтрак готовлю тоже сам. К вечеру приходит *femme de ménage* 10.

— Бедный! — сказала она, сжав его руку.

И они долго сидели так, рука с рукой, соединенные сумраком, близостью мест, делая вид, что смотрят на экран, к которому дымной синевато-меловой полосой шел над их головами свет из кабинки на задней стене. Подражатель Чаплина, у которого от ужаса отделился от головы проломленный котелок, бешено летел на телеграфный столб в обломках допотопного автомобиля с дымящейся самоварной трубой. Громкоговоритель музыкально ревел на все голоса, снизу, из провала дымного от папирос зала, — они сидели на балконе, — гремел вместе с рукоплесканиями отчаянно-радостный хохот. Он наклонился к ней:

— Знаете что? Поедьте куда-нибудь на Монпарнас, например, тут ужасно скучно и дышать нечем...

Она кивнула головой и стала надевать перчатки.

Снова сев в полутемную карету и глядя на искристые от дождя стекла, то и дело загоравшиеся разноцветными алмазами от фонарных огней и переливавшихся в черной вышине то кровью, то ртутью реклам, он опять отвернул край ее перчатки и продолжительно поцеловал руку. Она посмотрела на него тоже странно искрящимися глазами с угольно-крупными ресницами и любовно-

грустно потянулась к нему лицом, полными, с сладким помадным вкусом губами.

В кафе «Coupole» начали с устриц и анжу, потом заказали куропаток и красного бордо. За кофе с желтым шартрезом оба слегка охмелели. Много курили, пепельница была полна ее окровавленными окурками. Он среди разговора смотрел на ее разгоревшееся лицо и думал, что она вполне красавица.

— Но скажите правду, — говорила она, щепотками снимая с кончика языка крошки табаку, — ведь были же у вас встречи за эти годы?

— Были. Но вы догадываетесь, какого рода. Ночные отели... А у вас?

Она помолчала:

— Была одна очень тяжелая история... Нет, я не хочу говорить об этом.

Мальчишка, сутенер в сущности... Но как вы разошлись с женой?

— Постыдно. Тоже был мальчишка, красавец гречонок, чрезвычайно богатый. И в месяц, два не осталось и следа от чистой, трогательной девочки, которая просто молилась на белую армию, на всех на нас. Стала ужинать с ним в самом дорогом кабаке в Пера, получать от него гигантские корзины цветов... «Не понимаю, неужели ты можешь ревновать меня к нему? Ты весь день занят, мне с ним весело, он для меня просто милый мальчик — и больше ничего...» Милый мальчик! А самой двадцать лет. Не легко было забыть ее, — прежнюю, екатеринодарскую...

Когда подали счет, она внимательно просмотрела его и не велела давать больше десяти процентов на прислугу. После этого им обоим показалось еще страннее расстаться через полчаса.

— Поедемте ко мне, — сказал он печально. — Посидим, поговорим еще...

— Да, да, — ответила она, вставая, беря его под руку и прижимая ее к себе.

Ночной шофер, русский, привез их в одинокий переулок, к подъезду высокого дома, возле которого, в металлическом свете газового фонаря, сыпался дождь на жестяной чан с отбросами. Вошли в осветившийся вестибюль, потом в тесный лифт и медленно потянулись вверх, обнявшись и тихо целуясь. Он успел попасть ключом в замок своей двери, пока не погасло электричество, и ввел ее в прихожую, потом в маленькую столовую, где в люстре скучно зажглась только одна лампочка. Лица у них были уже усталые. Он предложил еще выпить вина.

— Нет, дорогой мой, — сказала она, — я больше не могу.

Он стал просить:

— Выпьем только по бокалу белого, у меня стоит за окном отличное пуи.

— Пейте, милый, а я пойду разденусь и помоюсь. И спать, спать. Мы не дети, вы, я думаю, отлично знали, что раз я согласилась ехать к вам... И вообще, зачем нам расставаться?

Он от волнения не мог ответить, молча провел ее в спальню, осветил ее и ванную комнату, дверь в которую была из спальни открыта. Тут лампочки горели ярко, всюду шло тепло от топок, меж тем как по крыше бегло и мерно стучал дождь. Она тотчас стала снимать через голову длинное платье.

Он вышел, выпил подряд два бокала ледяного, горького вина и не мог удержать себя, опять пошел в спальню. В спальне, в большом зеркале на стене напротив, ярко отражалась освещенная ванная комната. Она стояла спиной к нему, вся голая, белая, крепкая, наклонившись над умывальником, моя шею и груди.

— Нельзя сюда! — сказала она и, накинув купальный халат, не закрыв налитые груди, белый сильный живот и белые тугие бедра, подошла и как жена обняла его. И как жену обнял и он ее, все ее прохладное тело, целуя еще влажную грудь, пахнущую туалетным мылом, глаза и губы, с которых она уже вытерла краску.

Через день, оставив службу, она переехала к нему.

Однажды зимой он уговорил ее взять на свое имя сейф в Лионском кредите и положить туда все, что им было заработано:

— Предосторожность никогда не мешает, — говорил он. — *L'amour fait danser les ânes* 11, и я чувствую себя так, точно мне двадцать лет. Но мало ли что может быть...

На третий день Пасхи он умер в вагоне метро, — читая газету, вдруг откинул к спинке сиденья голову, завел глаза...

Когда она, в трауре, возвращалась с кладбища, был милый весенний день, кое-где плыли в мягком парижском небе весенние облака, и все говорило о жизни юной, вечной — и о ее, конченной.

Дома она стала убирать квартиру. В коридоре, в плакаре, увидала его давнюю летнюю шинель, серую, на красной подкладке. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикивая, моля кого-то о пощаде.

26 октября 1940